

В.В. Шкаликов

Пицца дикарей

Томск
2017

ББК 84(2Р)6
Ш66

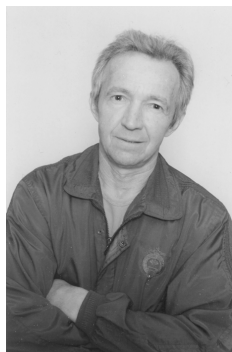
Шкаликов, В. В.

Ш66 Пища дикарей / Владимир Шкаликов, рис. Ольги Нечаевой. — Томск, 2017. — 200 с. : ил.

До сих пор писатель В. Шкаликов издавал такие сочинения, в которых обязательно присутствовала либо фантастика, либо сказка. На этот раз – беспощадный реализм, в котором автор остаётся верен только одному: «конец должен подавать надежду, иначе надо не книгу читать, а просто глядеть по сторонам». Его герои не отступают ни в бою, ни в жизни. Они верят в свою правоту и друг в друга. Они очень по-своему представляют, хороша ли «пища дикарей» и какова действительная разница культур.

ББК 84(2Р)6

© Шкаликов В.В., 2017
© Нечаева О.Е., иллюстрации, 2017



Шкаликов Владимир Владимирович

Родился зимой 1942-43 года в зоне боевых действий на Кубани, дошкольно остался сиротой, получил два десятка различных специальностей, три высших образования, освоил всерьез десяток видов спорта.

Член Союза журналистов СССР и Союза писателей России. Написал ряд книг реалистического, фантастического и сказочного содержания. Замечен также в драматургии и стихосложении. В своём сочинительстве опирается на целый ряд собственных специальных образований и рабочих профессий, что потворствует достоверности сочиняемого даже в откровенных выдумках. Выйдя на пенсию, трудится в библиотеке.



ЗАГОВОРЁННЫЕ

Нас было двое на всю тайгу. Я и шатун. Я искал его, а он – кого бы съесть. Ему давно спать полагалось – начало декабря. Но то ли он недобрал веса для спячки, то ли трассовики его подняли – бродил, бедняга, в окрестностях Пасола, и по местному радио рассказывали, какой он опасный.

Шатун ружья не боится. А я взял с собой только палку. Так, для виду. Я даже мало надеялся, что встречу. Просто пытал судьбу. Самое время было уйти, но ни травиться, ни стреляться, ни резаться, ни тем более вешаться я не хотел. От дикого зверя – хороший конец.

Он бросился, я огрел его палкой, он не почувствовал, я отскочил, он развернулся очень шустро, я ударил ещё раз, он не почувствовал и сгрёб меня одной лапой. Всё шло правильно.

Я сопротивлялся изо всех сил. В драке всегда хочется выжить. Но куда мне до голодного медведя...

Вдруг он захрипел, из пасти хлынуло горячее, меня сильно окатило. Вся туша расслабилась как-то быстро и замерла на мне. Вылезти из-под неё я не мог. Да и не хотелось. Мокрый, поломанный, на холоде – зачем? А тут – тепло и тяжко. Задохнусь – и ладно.

Но я, конечно, понимал, что его кто-то убил. Притом выстрела не было. Я бы услышал. Может,

другой медведь? Но это почти невероятно. Притом так быстро. Из всех животных только люди убивают друг друга...

Так я размышлял и задыхался. И всё начинало болеть. И когда-то простреленное, и раньше сломанное, и сейчас...

Потом туша стала переворачиваться, я почувствовал холод. И услышал тоненькое кряхтенье. И увидел женское лицо. Пожалуй, красивое. Только искажённое напряжением. И немного в крови.

* * *

Он спросил:

- Ты откуда?
- Шла по твоему следу.
- Зачем?
- Плохой был след.
- Это как?
- След подранка.
- Охотница, что ли?
- Хуже.

Он помолчал, подумал и сказал:

- Зря ты его зарезала.
- Так ты смерти искал?
- Да.

Я подумала и сказала:

- Ишь, какой шахид.

Он возразил:

- Шахиды за веру погибают.
- А ты – за что?
- А я – сам себе не нужен.

У него было приятное славянское лицо, очень мужское и очень усталое. Медведь его даже не поцарапал.

Я сказала:

– Интересно... Ты что, один на свете?

– Да.

– Бездомный?

– Дом есть, – он усмехнулся. – Только пустой.

– Почему?

– Да какая тебе разница?

Он начинал замерзать. К тому же зверь порядком его помял. Я отломила от ели две большие нижние ветки, связала их шнурком от куртки – получилась волокуша. Тащить его в посёлок по двойному следу было не так уж и трудно. Сопrotивления этот самоубийца не оказывал. Он просто потерял сознание.

Посёлок Пасол невелик и одноэтажен, больницы нет. Только так называемый медпункт, напротив магазина. Время было к вечеру, фельдшера там не оказалось. И у меня под рукой не было ничего для настоящей помощи. Впору отчаяться: чужой посёлок в чужой Сибири, чужие лампочки горят в чужих окнах, ни одной машины, ни одного человека, метель. Только собаки учуяли медвежий запах и лаяли с остервенением, но подходить боялись.

Я не знала, как зовут этого парня. Я не знала, где его дом. Даже если бы могла у кого-то спросить, то что бы я спросила? Можно было поискать дом с тёмными окнами. Но таких даже вблизи было несколько. А домов в этом Пасоле – не меньше сотни.

Бедняга не приходил в сознание и странно бредил. Он требовал его прикрыть. Наверно, сильно замерзал.

От этого моё отчаяние так усилилось, что я стала бить его по щекам. Это был неправильный приём, но он подействовал. Парень открыл глаза. Я прикрыла его своей курткой. Мне было жарко.

Над нами низко летели тучи, в глаза лезли вихри со снегом. Он моргал и смотрел на меня с трудом. Наверно, ему даже моргать было больно, а тут я со своими пощёчинами.

Я увидела, что он меня узнал, и закричала:

– Адрес! Где твой дом? Я замёрзла!

Это было правильно. Он назвал адрес. Я приподняла его голову, чтобы огляделся, и спросила:

– Куда?

Он показал. И я побрела со своей волокушей по пустой улице. Собаки сопровождали нас. Я так устала, что уже не хотела их растерзать.

В этой замечательной деревне, точно как у нас на юге, на каждом доме горел фонарь с номером. Старые жестянки, ещё с советских времён. Я легко нашла нужный дом и открыла его ключом, который догадалась поискать под старым тряпичным ковриком на крыльце.

Дров у печки не было. Я набрала их из какой-то поленницы за оградой. Они были сухие, берёзовые. В доме стало быстро теплеть.

Я нашла аптечку и приятно удивилась, как много в ней всего. По названиям лекарств легко поняла, почему этот парень захотел умереть. Постоянные боли надоело глушить сильными препаратами. С этого я и начала. Сделала ему сложный укол и прикрыла одеялом. Бредить он перестал. Я согрела много воды и занялась его ранами.

* * *

Острые когти у медведя. Как ножи. Даже как бритвы. Когда рвёт, сначала ожог, потом боль. И зубы острые. И вонючее дыхание. Я читал об этом, теперь попробовал.

А у спасительницы руки нежные, как у лучшей медсестры. Как у моей покойной мамы. Я успел почувствовать укол. Понял, что вводит обезболивающее. Почти сразу провалился, растворился в сне.

И последний бой мне в этот раз не снился. Я только вспоминал, что есть такой сон, что он приходит каждую ночь, поэтому ненавижу спать. В этом сне банда прёт плотной волной, ребята затихают один за другим, но не отступают, бьются до последнего. Мне срочно надо менять позицию, но из тыла банды бьёт снайпер. Хорошо, гад, попадает. Кричу: «Прикройте!» Но некому прикрыть. А с этой позиции я их уже не достаю. Встать! Бегу, качусь, берегу оптику, бегу. Вот сейчас! Может быть, хоть сейчас не успеет... Но в каждом сне этот гад успевает. Тяжеленная пуля. Теряю равновесие, лечу в реку. Может быть, хоть теперь не успеет... Нет, снова успевает. Влёт. Разрывной... Сейчас обожжёт горная вода, будет так трудно плыть... Чудо плавания с двумя разрывными внутри... Потом мокрому мёрзнуть на берегу... Март...

Но теперь мне впервые не снились эти разрывные, этот холод, эта боль. Весь сон меня качала волокуша и пахло елкой – просто Новогодний праздник. И обдавало иногда берёзовым дымком. И нежные руки трогали лоб – особенно приятно, потому что лоб горел. Она ладонями остужала.

Иногда я просыпался. Бывало то солнечно, то темно. Спасительница каждый раз была рядом. Сразу

же поила бульоном. Куриным. А я думал: «Хорошо, что спасла. А то ведь забыл, что куры заперты в стайке. Так бы и подошли с голоду. А теперь мы их едим».

Я спросил:

– Ты курей кормишь?

Она смеялась:

– Нет, только режу.

– Как медведей?

– Нет, топором.

– Как тебя зовут?

– Мария.

– Дева Пресвятая.

Она усмехнулась грустно:

– Не тяну. Ни на то, ни на другое. Просто Мария.

– Но тебя же мне бог послал? На помощь...

Она снова усмехнулась:

– Просто «ноль-три». Я ведь медик.

– А к нам как попала?

– Мимо ехала. Остановились у магазина. Попутчики захотели выпить, а я отошла...

– А-а-а... И увидела мой след...

– Да. Сначала решила, что это кто-то вроде моих попутчиков. Но всмотрелась и поняла, что – беда.

– Увидела след палки?

– Ну, и его тоже... Неважно. Увидела, почуяла – и всё.

– Куда ехала?

Она помолчала. Потом сказала:

– Не знаю. Может быть, к тебе.

И не улыбнулась. Что там у неё в голове? Что у неё за душой?

Я не мог об этом думать. Мне очень хотелось уснуть. Когда можно спать под таким присмотром, сон всё-таки

лучше смерти. Просыпаешься – сразу бульон. И руки. И глаза. Печальные тёмные глаза. Красивая женщина. С каждым пробуждением я всё больше к ней привязывался. Просыпался, как на свидание. Лечился охотно. И снова засыпал. Я очень сильно недоспал за последние полгода.

* * *

У него чистое лицо, но много шрамов на теле. Было несколько грубых операций. Полостных. То ли неумелой рукой, то ли в дурных условиях, но знатном. Скорей всего – второе. Иначе как бы он выжил? Где ж тебя носило, мужчина?

Об этом я старалась не думать. Сейчас таких много. Время худое. Взрываются, стреляются, режут друг друга. Гражданская война, только название другое – «разгул террора». У каждой смутной эпохи свои термины. Только суть от этого не меняется. Народ теряет лучших и слабеет. А вокруг сидят шакалы и наблюдают. Чтобы наперегонки броситься и растащить мёртвого льва по кусочкам. Вот как давешний шатун чуть не растащил моего бедного самоубийцу.

Впрочем, я не могла называть его самоубийцей. Он хотел умереть как воин, как хотя бы охотник. Его следовало уважать. Хоть мы и враги.

Да и какие мы теперь враги... Он – просто мужчина, я – просто женщина. Иван да Марья. Забавно: его и в самом деле зовут Иваном. Наши дети были бы все Иванычи. Русские... Можно было думать даже об этом. Сиделке при умирающем всё можно...

Мне не было скучно одной. Я с детства умела быть самодостаточной.

Забавно: дикая горянка пользуется таким словом.

Кстати, интересно, к какой национальности Иван меня причислил? Моя внешность универсальна: могу сойти и за украинку, за молдаванку, за персиянку даже. Так мне говорили мои суровые наставники. Я выросла среди людей, понимающих толк в мимикрии.

О Аллах, сколько во мне мусора!..

Как говорил один еврейчик в Ростовском государственном медицинском институте, «Аллах таки ж не менее акбар, чем тот, с кого он срисован». И весь лечфак этому смеялся, потому что дружно жили все пять лет, и плевать нам было на разницу вер. У нас была одна вера – по Гиппократу: «Не навреди». И еврейчика звали по-русски Миша. А меня – Маша. Хотя и знали, что Марьям.

Я одна была чеченка на весь факультет. Не полагалось нашим женщинам учиться. Если бы не мама... Но она при советской власти была председателем сельсовета. Так и осталась начальством. И слушались её.

Мама – яркое место в моей жизни. Всё, что она делала, было ярко. В том числе и я сама, единственная дочь, последний, поздний ребёнок. Старшие братья как-то не в счёт. У них было мужское воспитание.

Впрочем, я от них ни в чём таком не отстала.

Началось с того, что маме померещилось, будто у меня какие-то особые способности. И когда мне исполнился годик, она потребовала провести со мной ту же процедуру, какую в нашем роду проводили только с мужским полом. В день, когда исполнялся годик, мальчишку сажали в кунацкой на ковёр посреди круга из вещей. Клади оружие, инструменты, книгу, кошелек, уздечку... К чему потянется, то ему и судьба:

воин, мастеровой, учёный, торговец, коневод... Мне в круг добавили посуду, плетъ (это насчёт власти) и походную аптечку (я уже знала, что это такое). Вся семья собралась: дед, отец, дядя, два брата, бабушка и мама. Другие женщины занимались хозяйством. Были, говорят, ещё мужчины из гостей.

Мама рассказывала, что сначала я схватила книгу и огляделась. Никто не возражал. Тогда я схватила кинжал и снова огляделась. Все кругом улыбались. Тогда я схватила аптечку и со всем этим богатством двинулась к дивану. Народ расступился. Я сложила добычу на диван, влезла следом сама и потянулась к старинному шомпольному ружью, которое висело на стене. Дед засмеялся и снял ружьё. Я вцепилась. Дед сказал со смехом: «Абрек будет!» И добавил без смеха: «Как на фронте – санинструктор». Дед был на фронте. Дошёл до Праги. Имел ранения. В санинструкторах толк понимал. Меня и назвали Марьям – в память о санинструкторе, которая деда вытащила с поля боя, а сама погибла. Дед гордился своим военным прошлым. Поэтому ненавидел русских, которые выселили чеченцев в Сибирь, пока он проливал за них кровь. Вот не странно ли: Россию родиной считал, а русских ненавидел. Не всех, правда. На встречи с фронтовыми друзьями ездил. И они нас навещали.

Вот так я выбрала судьбу. В семье воинов этому не удивились.

Ещё до школы мама обучила меня чтению, письму и арифметике. Меня приняли сразу в третий класс. Об этом даже написали в районной газете. Но потом забыли, и это было хорошо. Ребёнку мешает лишнее внимание.

У чеченцев принято воспитывать девочек в затворничестве. А я одевалась, как мальчишка, и в грош

не ставила старших одноклассниц. Мой ближайший по возрасту брат Аслан сидел со мной за одной партой. Вот кто был настоящий абрек. Его боялись все ровесники и – через одного – старшие. Никому ничего не прощал и дрался самозабвенно, как настоящий горный волк, насмерть. Его друзья считали меня ровней, потому что я всё умела делать лучше их. Даже драться. Где не хватало силы, там брала быстротой и приёмами, которые вычитывала в книгах. (Они-то книг не читали). Я точнее всех бросала камни и ножи, стреляла из лука и из рогатки. А потом – из пневматических стволов. А потом и из серьёзных.

Мама говорила: «Предки смотрят на тебя из рая и радуются».

* * *

Не помню, какая-то была по счёту ночь – снова приснился бой. Когда ударила первая пуля, я заставил себя проснуться. И понял, что начинаю выздоравливать. Вслед за этим сном ко мне вернутся все боли. Сейчас к постели подойдёт начальник ада и скажет: «Здравствуй, Ваня. С возвращением». Я скажу: «Но я же в настоящий ад хотел. Почему не пустили? Послали эту...» Он перебьёт: «Не эту, а Марию, Деву Пресвятую. И я тебе отчёт за Божий промысел давать не обязан. Скажу только, что медведя ты искал сам, и он тебя нашёл тоже сам, с голодухи. После него душе твоей в рай полагалось». «В мусульманский?» «Что за глупости, Ваня! Рай на всех один. Правверные – это не те, кто верит в Аллаха или там в Элохима, а те, кто верит в Правду. Бог един во множестве имён и вер. Просто неловко мне, шайтану, разъяснять тебе

такую простоту. Да и насчёт ада не так уж сложно понять. В аду вы все находитесь при этой, Ваня, жизни. Хоть и ругаете, а ведь боитесь потерять. И правильно. Вот посмотришь из рая, сразу разберёшься. Слышал ведь истину: «Ад страшен только со стороны». Но жить в нём, как видишь, можно. Вот и поживи пока в моих владениях».

Я сел и затряс головой. Сон наяву? Бред! Чертовщина! И ведь сам додумался! До чего же интересно устроен человеческий мозг... В следующей жизни стану каким-нибудь психофизиологом. Отворю человечеству дверь в подсознание.

Сатана снова явился и ухмыльнулся: «Дельная мысль. Только сам в эту дверь не входи. Она сразу хлопнется, и ты там останешься. Тело отправят в психушку, а душа в рай не попадёт». «А куда же?» «Да просто в распыл. Такое у Него наказание для слишком любознательных. И я тут ни при чём. Я и сам-то – сосланный».

Я снова затряс головой. Позвоночник пробило болью, сорвался стон.

Мария тут же вскочила и подошла.

– Сидишь?! Молодец. Но рано ещё. Ложись пока. Спать надо.

– Не могу я спать. Кошмары. Зря ты меня спасаешь.

– Хорошо, хорошо. Поешь курятины, попей чайку, а я тебе сказку расскажу.

* * *

Я рассказала ему сказку про двух чудовищ.

– Одно чудовище было огромно и с девятью головами. Когда люди напали на него, между головами начался спор – как сражаться, чтобы победить. Пока

спорили, все головы были срублены. А у второго чудовища было девять тел при всего одной голове. Оно сумело победить людей и скрыться, потому что все тела подчинялись только одной голове.

Он посмотрел с подозрением и спросил:

– Что же делать одной голове при одном теле?

– Твоей голове – спать. До полного выздоровления. А моя с двумя телами справится пока.

Чай был с димедролом, Иван снова уснул.

А я осталась при двух телах. На одном сменила повязки, а другому велела тоже поспать. Но оно не слушалось. Оно сильными толчками гнало в голову горячую кровь. Оно хотело этого мужчину. Пришлось твёрдо ему пообещать, что Ивана мы спасём. Тело не успокаивалось. Пришлось искать для него работу. Благо в сельском доме работа найдётся и ночью. Подбросила в печь пару поленьев. Добавила снега в большую кастрюлю на печи – будет мягкая вода для стирки и мытья. Сделала короткий комплекс у-шу, в обе стороны, сначала замедленно, потом ускоренно. Координация не нарушена, можно жить дальше.

Села перед настенной рамой, стала смотреть на семейные снимки. Занялась изучением биографии Ивана.

Вот этот, наверно, прадедушка. Казачья гимнастёрка, папаха, шашка. Рука на плече прабабушки. Классика начала двадцатого века. Внизу, в виньетке, фамилия фотографа. Уважали себя. И рекламировали. Всё честно.

Прочие снимки – безымянные. Этот, на фоне винтового истребителя, наверно, дед. Истребитель тупоносый, «И-16», на фоне гор. Пилоточка на голове солдата –

испанская, высокая. Интернационалист. А этот, пожалуй, отец. Фото вырезано из газеты. Учитель труда среди газетно внимательных мальчиков. В руках – новая табуретка. Ближайшему из мальчишек будет за неё пятёрка... А мальчишка-то – сам Иван! Точно! И подпись: «За такую работу и сыну не стыдно поставить «отлично». А вот и мама с тем же мальчишкой, только чуть постарше. Снимок плохо промыт, слабо закреплён, пожелтел. Может быть, папа снимал, учитель труда. Тоже в школе. Рядом с глобусом и на фоне карты Советского Союза. Родители, стало быть, учителя... Люди небогатые. Как же они умерли? И чем их единственный сын занимался после школы? По нескольким групповым снимкам это не определишь, а вот здесь и здесь совсем недавно какие-то снимки были, да кто-то их вынул. Искать же сведения среди документов по ящикам комода – как-то неловко. Мы всё же какие-никакие интеллигенты...

При осмотре дома выяснилось, что все инструменты на местах и наточены, ничего не разбросано и не сломано. Значит, эти руки покрыты не хулиганскими, а трудовыми шрамами. Смущают только шрамы на теле. Ах, какое тело...

Поношенный солдатский бушлат от медвежьей и человеческой крови вполне отмыть не удалось. Значит, служил хозяин. И не так уж недавно. И в запас уволен зимой. А вот в каком войске служил – не понять. Спорты нашивки с рукавов.

* * *

В этот раз бой не снился. Я понял, что она что-то подсыпала в чай: вкус был немного не тот. Всё, стало

быть, останется по-прежнему: боль, химия, забытьё. В самой близкой перспективе – медикаментозная наркомания. Так мне сказал тот хирург, который без наркоза спасал меня в палатке после боя. Вертолёты ещё утюжили ущелье, меня вывезти было не на чем... Он сказал: «Если у тебя воли хватит, наркомания будет умеренная. Но на всю жизнь. Такие травмы полностью не срастаются»...

Мария сидела у окна, но смотрела не на улицу, а на меня. Наверно, взглядом и разбудила. Взгляд у неё... Ну, скажем, сильный.

– Проснулся, охотник! Вот и хорошо. Есть пора.

– Не хочу, спасибо. Опять что-нибудь подмешаешь.

– Это от тебя зависит.

– Я же сказал: зря спасаешь. Я наркоманом жить не буду.

– Так и я с наркоманом жить не собираюсь.

И смотрела каким-то родственным взглядом. Как на брата.

Я сообщил, как сестре:

– С моими болячками наркомания неизбежна. Так сказал врач.

– Я тоже врач. Но я скажу другое. С сильной волей можно обойтись без наркотиков. А у тебя воля сильная. Я вижу.

– По чём же это видно?

– А хотя бы по тому, что руки на себя не наложил. Мог ведь этими же лекарствами... Но ты к медведю пошёл!

– Если так, то конечно. Для самоубийства нужна сильная воля. Но чтобы от него отказаться, нужна ещё сильнее. А у меня её...

– У тебя она есть! – Сказала важно и веско, как наш майор.

– Все врачи любят так говорить. О чужой воле можно что угодно... Один тот хирург сказал правду.

Я тут же пожалел, что его вспомнил. Она вцепилась.

– Какой-нибудь армейский костолом? – Рванула с меня одеяло. – Ты как эти раны получил?

Видно было, что давно разглядела, ждала случая спросить.

– Трактором меня переехало. Рысь покусала в детстве. Теперь вот мишка...

– Только про мишку не врешь. Не было ни трактора, ни рыси. Признавайся, что у тебя повреждено внутри?

Конечно, догадалась, что ранения пулевые. Я соврал снова:

– На охоте, случайно. Жаканом. Знаешь такую пулю? Она покачала головой.

– Из двух стволов, случайно, в разные бока? Опять врешь. Ведь в армии, так?

И пошла к печке за бульоном.

Я на этот вопрос отвечать не стал. Она тоже молчала. И что-то появилось на лице... След какого-то ужаса, который она старается не показать. Она стала смотреть мимо, опускала глаза, а я видел в них что-то странное. В ней завелась мучительная мысль, а мысль родила тоску. Во всём лице я видел какую-то догадку... И досаду. Будто жалела о чём-то сказанном.

Она увидела, что наблюдаю, и заговорила, чтобы отвлечь:

– Там, на снимке, у самолёта – твой дед?

– Дед. Погиб в сорок четвёртом.

– А казак – твой прадед?

– Да. Из терских мы.

– Из Чечни?

– Ну да. Станица Грозная. Теперь – столица Ичкерии. Она посмотрела в упор. Зрачки – во весь глаз.
– А почему уехали в Сибирь?
– Не знаю. Прадед, говорят, свободу любил.
– А ты где служил? Почему нашивки спорол с бушлата?

– А почему ты решила, что я служил? И почему думаешь, что это моя куртка?

– А ты, что же, не служил, такой здоровенный?

– Так я внутри-то не здоровенный...

Она поняла, что дальше спрашивать не стоит. Ста-
ла кормить и рассказывать очередную сказку.

– Вот ты из терских казаков. А они должны быть та-
кими же храбрыми, как чеченцы. Ведь тоже едят чуре-
ки из кукурузной муки.

– Ну и что?

– Ва, как «ну и что»? Положи в огонь зерно пшени-
цы и зерно кукурузы. Пшеничное зашипит, а кукурузное
взорвётся – баххх!

Так забавно изобразила горца, что я спросил:

– Ты сама, часом, не оттуда? Чеченка ли, чо ли?

Она засмеялась сибирскому говору и ответила:

– Я украинка. Могу паспорт показать. Мария Ди-
мовна Карасик.

– Дмитриевна?

– Отца Димой звали. Дед его так назвал в память
о фронтовом друге. Именно вот чтобы Дима. И отчество
получается – Димовна.

Мне казалось, что она немного привирает. Впро-
чем, это больше походило не на ложь, а на шутку.
Я сказал:

– Покажи паспорт.

Она показала. Точно, Димовна. Выдан в Краснодаре. Там же прописана и выписана. Украинка. Не замужем... Я листал паспорт, а она улыбалась понимающе.

– Ну, всё обо мне узнал, что хотел?

И положила руку мне на грудь.

* * *

Я его почти не обманула. Дима – настоящее чеченское имя. Но и дедова фронтowego друга, русского, тоже так звали. И прописка краснодарская – самая настоящая. Только оформлена не по закону. В любой паспортно-визовой службе работают обыкновенные люди, нужно только знать, сколько заплатить. Я, впрочем, не знаю. Этот паспорт на имя украинки Марии Карасик покупала не я.

В Чечне уже вовсю шли бои, а я училась на пятом курсе лечфака. Приехал средний брат, сообщил, что наш отец Дима и старший брат Руслан погибли в горах. Вручил мне этот новый паспорт и увёз меня домой. Сказал, что надо помочь отомстить за отца и брата, а доучиться можно потом, при моих-то способностях. Возражать бесполезно – закон гор. Тем более, что помощь – по специальности. Надо было обеспечить медицинское обслуживание прорыва в Грузию. Самой туда ехать не обязательно. Проводить до границы – и назад.

Это была неправда. Это был грубый обман. Асланчик всегда был нечист на язык. В другое время я бы ему не поверила, но разговор-то шёл о гибели отца и брата, дело святое, в детали вдаваться неприлично. Впрочем, он ещё и подстраховался. Положил на стол

мой новый паспорт и сказал: «Давай сравним со старым». Я выложила свой чеченский, и он тут же, не сравнивая, забрал оба себе. И сказал: «Поехали. На грузинской границе оба получишь. И тысячу долларов».

Прорыв был ужасный. Регулярная армия его ждала и приготовилась. Какой-то офицер получил от наших хорошие деньги за предательство, но обманул: показал дорогу прямо на минное поле. У меня там было много работы. Но отряд прорвался, хоть и оставил на поле две сотни трупов. Было начало марта, снег почти весь растаял, но в ущелье кое-где ещё лежал. И ночи были холодные. Погода всё время стояла облачная, с сильным ветром. Такую выбрали специально, чтобы армия не могла применить вертолёт. По ущелью шли хорошо. Потом разведка напоролась на заслон. Наши думали, что там обычные погранцы – до границы было уже недалеко. Но потом выяснилось, что это рота десантников. Их командир по радио отклонил наше предложение пропустить отряд и открытым текстом вызвал подкрепление. Ждать было некогда, обходить – некуда, пошли в лобовую. Аслан вручил мне снайперскую винтовку и сказал: «Ты всегда стреляла лучше всех. Полечи гяуров разрывными. Это будет и за отца, и за Руслана». И отдал мне оба моих паспорта и деньги. Я поняла, что этот бой – последний.

Десантники дрались храбро и умело. Наши заваливали их своими телами. Все понимали, что вертолёт прилетит при малейшей возможности, тогда нам конец. Даже без вертолётов нам было горячо: русский командир неплохо корректировал огонь своей артиллерии. Приходилось непрерывно перемещаться, а в горах это утомительно, особенно с грузом на спине и в руках.

В начале похода я ещё была студенткой, врачом, помнила о друзьях и о Гиппократе. Но когда получила винтовку, волчья кровь застучала: «Выжить!» И я стреляла метко. Когда-то кто-то умный сказал, что первый убитый тобой человек – это страшное потрясение на всю жизнь. Если бы я его встретила, я бы спросила: «А сам ты убивал?» В бою нет потрясений. В бою живёшь, пока успеваешь, потрясаться некогда.

Но и в нас стреляли метко. Один ствол попадал особенно хорошо и всё время перемещался. Он бил только одиночными и не мазал ни разу. Явно снайпер. Я всё время пыталась его достать, но он работал профессионально. И он в меня стрелял, но я не зря каждое лето проводила в горных лагерях вместе с братьями и отцом.

Когда русских осталось всего ничего, я подловила их снайпера при смене позиции. Пока он летел в реку с крутого обрыва, я успела попасть в него ещё раз. Мне с детства нравилась пулевая охота на летающих.

И вот тут что-то со мной случилось. Почувствовала, что не могу больше стрелять. Странно: вспомнила Лермонтова: «Черкесы гибнут, враг повсюду...» За спинами гибнущих чеченцев прорываются из России в Грузию какие-то арабы, прибалты, украинцы, даже негры, а я среди них – кто? Я с ними – почему? Я родину защищаю – для них? А от кого? От этого русского снайпера, который защищает эту же родину – для кого? Для них? Получила за смерть доллары, не рубли – от кого? Нашу нефть – через Грузию – кому? Во мне проснулась русская студентка. Чеченка по крови, украинка по паспорту, врач по милости божьей...

Сама удивляюсь, что в бою можно так думать. Но я думала всего секунду. А бой уже кончился. Началось

уничтожение. Потом я узнала, что это погибающий командир десантников вызвал огонь на себя. Кругом заревело, зашипело, уши мне заложило, задрожали воздух и земля. Человек не может в такое время думать. Только кое-что чувствовать. И через чувства понять всё, до чего не мог дойти умом. Я сразу всё поняла. Протёрла винтовку тряпочкой, положила её на землю и ушла. Мне было всё равно, убьют, искалечат, сожгут... Но даже не задело. Я слыхала, что есть такие люди. Заговорённые. До десятка на полк. Или на дивизию, не помню точно. Впрочем, всё, наверно, проще. Пушки и «град» били через мою голову, по линии соприкосновения, а я-то стреляла, так сказать, из тыла наступающих. Я и арабу одному башку разнесла, который ко мне до этого приставал.

Я шла почти налегке. Только немного продуктов, нож и чей-то пистолет.

На вторые сутки нашла базу Аслана. Он был уже там, один, здоровёхонек. Сказал мне: «Вовремя пришла. Теперь начнётся самая работа. Против больших войск у них средства есть. А с малыми – вон, даже янки в пустыне не справляются. Теперь наша главная сила – шахиды».

Я всё поняла. Институт мне больше не светит. За отца и брата он намерен отдать и мою жизнь. Но больше – за доллары. Он всегда был жаден до денег и власти. Он, наконец – единственный мужчина в семье. Старший. Попробуй послушаться. Но я устала так, как не уставала никогда. У меня даже язык не ворочался, даже мысли не хотели шевелиться. Я одного хотела – упасть и уснуть.

Был ещё день, в пещере стоял полумрак и горел костерок под казаном. Я упала на спальный мешок, но

брат начал заботиться. Раздел, помыл горячей водой, уложил спать на чистое.

Что было потом, вспоминается как дурной навязчивый сон. Проснулась в темноте от щекотки. Это была борода Аслана. Он домогался, он был намного сильнее, а я чувствовала себя такой разбитой, будто побывала под гусеничным трактором. Если не врать себе, я не очень и сопротивлялась. Приговор произнесён, жизнь кончилась. Ещё месяц-два-три, и я с украинской фамилией сяду в самолёт или приду в людное место и – щёлкну тумблером. А если не щёлкну, братец приведёт в действие радиовзрыватель. Всё это предписано Аллахом. А волю Аллаха диктует элита. Аслан в элиту попал, а его младшей сестре – шариат не велит.

Я хорошо знала Коран, самую гуманную книжку из гуманных. «Истина – от твоего господа. Не будь же сомневающимся!» Сура номер три. «Обрадуй же тех, которые не уверовали, мучительным наказанием». Сура девятая, почти юмор: «Обрадуй...» «Избивайте многобожников, где их найдёте, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте!» Та же девятая сура, уже без юмора. «Поистине, самудяне отвергли своего Господа, – да погибнут самудяне!» Это сура одиннадцатая. И, наконец, сура пятьдесят шестая, апофеоз: «Мы распределили вам смерть, – и Нас не опередить!» А раз не опередить, так чего её бояться? Аллах, таки ж, акбар, как говорил еврейчик Миша в моём недоступном уже Ростовском мединституте. И гори огнём такая жизнь. Говорят, шахиды в рай попадают сразу, мимо чистилища. Вот там у Аллаха и спросим, что к чему.

Удовлетворила братскую похоть, поспала немного, как умерла, а с первыми лучами рассвета встала,

голая, и огляделась. Братец храпел, счастливый. Костерок давно погас. Тихо до звона, только храп длинными очередями вылетает к небесам, к престолу Аллаха, через щель в потолке. Ишь, как расслабился в безопасности, горный волчара. Даже не почувал, как встала обесчещенная сестра-шахидка.

Я взяла автомат и дёрнула затвор. Вылетел патрон, который уже был в казённом. Но его место занял новый. Волк сразу же проснулся. И я всадила в его бесстыжие глаза весь магазин. Никто не опознает. Потом протёрла тряпкой автомат и положила на место. Потом ещё раз вымылась. Потом нашла гражданскую одежду и нарядилась так, чтобы поменьше выглядеть горянкой. Схоронила на груди новый паспорт, распихала по карманам все деньги, какие нашла. Бросила в костерок свой чеченский паспорт и все документы Аслана. Размешала пепел. Понюхала руки. Они уже почти не пахли порохом. Пока дойду, всё выветрится и ототрётся.

Уложила в штатскую спортивную сумку самые калорийные продукты, мужские плавки, трико, мыло, полотенце и всё такое. Осмотрела себя. Джинсовый костюм брата чуть великоват, но терпимо. Кроссовки несколько свободны, но на шерстяной носок оно даже лучше. Кожаная куртка тоже чересчур просторна, рукава длинноваты, но, если под локоть их закатать, сойдёт за экстравагантность. Кепочка кожаная была бы как раз, если бы не длинные волосы. Собрала их на затылке в пучок, связала прядью от капроновой верёвки и обрезала, как хвостик у жеребёнка. А концы верёвки распушила, как пампушку у американской баскетбольной болельщицы. Нашла зеркальце, посмотрелась. Хороша Маша! А хвостик – в костёр...

Брать с собой пистолет не решилась. Взяла только большой складной нож. Он без фиксатора, при обыске придраться не к чему. Да и не станут на Кавказе придраться к девушке с ножом: обидчиков слишком много. А другое оружие можно при нужде добыть у неприятеля – нас этому учили.

Я дала ножу имя Зил-бухар, будто он – сабля пророка Али. Так он со мной и путешествовал. Сначала до Краснодара. Там мы с ним обдумали маршрут. В Ростов ехать было нельзя: там я слишком на виду, свои могут найти. Хотя настоящих-то своих у меня больше нет. Мама с дедом погибли при штурме нашего дома, вместе с отцом и Русланом. Не в горах погибли семейные волки, а под родным кровом, где хотели отлежаться. Аслана я расстреляла сама. Теперь кто-нибудь из оставшихся волков расстреляет меня. Любой поймёт: если все погибли, а девушка жива, значит, не захотела стать шахидкой. Жить захотела. Испортила девушку цивилизация. Испортили книжки, которых прочитала непозволительно много. Враждебную Библию прочла. И поняла её получше, чем Коран. Тоже кровавая книжонка, но там хоть про Ису, то есть, про Иисуса – по-доброму. Мохаммед многое у Него срисовал... В общем, была какая-то правота в Мишкиной шутке: всякий бог велик, если добр. Важно, чтобы доброта не была выборочной – «только для чистых».

Нож был хорошей стали. Не тупился от консервных банок и не ржавел. И так был отполирован, что при нужде можно было посмотреться, подкрасить губы и подвести глаза. Мы с ним решили, что надо ехать на восток. И как можно дальше.

Так я попала в поезд «Адлер – Томск». Он просто подошёл раньше других, а я как раз стояла

у карты России и думала, что «как можно дальше» – это не обязательно только на восток. Вон севернее Транссиба как пусто... И ехала до станции Тайга, не покидая вагона. Отсыпалась. И отоспалась. Перед Тайгой увидела высокие еловые леса. Острые верхушки доставали до неба. Из Тайги поезд пошёл вдруг в обратную сторону, скоро повернул на север и шёл среди этих самых ёлок, вплотную к лесу. Вид завораживал. Я любовалась и впервые не скучала на равнине по горам. Мне нравилось слушать, как грохот колёс мечется между стенами деревьев. Совсем как эхо в горном ущелье.

Попутчики-томичи, когда узнали, что еду впервые, стали нахваливать город. Все в моём купе оказались вузовскими преподавателями, притом медиками. Называли его Сибирскими Афинами – за самую высокую плотность студентов и учёных на душу населения. Мне легко было соврать, что хочу перевестись из Ростовского мединститута в Томский. Да я почти и не врала. Мне очень хотелось доучиться. Только не сразу. Новый паспорт ставил много проблем. Кто выслал бы документы Марьям Димовны Давлатовой по запросу какой-то Марии Димовны Карасик? Это как минимум – отказ. А если сильно повезёт – расследование и уголовное дело о терроризме. Так что всяко стоило подождать каких-то крутых перемен в моей нелегальной судьбе.

* * *

Я накрыл её руку своей и закрыл глаза, будто сплю. Лежал так долго. Она не двигалась. Даже казалось, что не дышит. Потом рука дрогнула. Я приподнял ресницы и увидел, что её глаза тоже закрыты, а по щекам ручьями

текут слёзы. Она содрогалась от рыданий и с трудом удерживала руку на моей груди. Я открыл глаза и сдвинул её пальцы. Она посмотрела сумасшедшим взглядом, быстро наклонилась, тронула губами лоб, губы, глаза – будто перекрестила, и выбежала из дома.

* * *

Я не заметила, как схватила на бегу этот штопанный солдатский бушлат. Во дворе его надела, тогда поняла. Стало неудобно. Сквозь эту одежду медведь грыз Ивана. А полгода назад сквозь такой же бушлат я прострелила его дважды.

Ещё в тот момент, когда впервые увидела его шрамы, меня кольнуло. Именно в эти места должны были попасть мои пули тому русскому снайперу. И здесь, когда он в бреду кричал: «Прикройте!» – он это не от холода кричал. Ему надо было сменить позицию. Прикрыть было уже некому, воины ислама добивали последних из его роты. Он должен был погибнуть от двух разрывных. Или утонуть в ледяной воде Аргуна. А он – вот он, спасён мною же от шатуна. Не подвёл острый Зил-бухар...

Плакала-то я от радости. Мне ещё тогда, в ущелье, стало жалко убитого снайпера. Как равного. Как своего. Найти его живым – настоящее чудо. Аллах таки ж действительно велик. Хвала Тебе, Бог, Умеющий Прощать. Милостивый и Милосердный... Не погибать надо во Имя Твоё, а долго и праведно жить, в добре и согласии – всем, всем, всем. Воистину такова Твоя воля. Аминь.

Помолилась, выплакалась, набрала дровишек из чужой поленницы и собралась домой. Но тут из соседней

калитки выскочил нетрезвый абориген и с самым непотребным матом напустился за воровство. Надо, мол, было готовить дрова заранее, несмотря что родители умерли в один день, и вообще, мол, кто я такая... Выбил из рук дрова и схватил за бушлат. Уложила его носом в сугроб и объяснила, что хозяина поломал шатун, что этот шатун лежит там-то в лесу за магазином, и я ему его по-соседски дарю за дрова. И отпустила.

Он представился:

– Алексей. А ты Ивану кто?

– Я ему – врач. А зовут – Мария.

– О-о, ему врач нужен. – И сразу перешёл на «вы». – Повезло ему вдвойне. Он же, знаете, в Чечне ранен. Смертельно. Теперь на инвалидности.

– И тебе для инвалида, для героя – дров жалко?

– Да не серчайте, доктор. Я же немного поддавши. Притом не знал, кто берёт. Вот, думаю, поймал. И вообще, надо же как-то знакомиться. Правда?

Оказался смешной и славный мужик. Тут же собрал дрова, занёс ко мне в дом. Поздоровался с Иваном. Упрекнул, что, мол, надо было сразу обратиться. Мы бы, мол, из одного уважения к покойным родителям...

Я спросила, будто к слову:

– А как они умерли в один день? Несчастный случай?

Спросила Алексея. Он и ответил:

– Лодка перевернулась.

И посмотрел на Ивана. Тот кивнул. Всё было не так, я не поверила.

– Говорите правду.

Иван посмотрел на соседа. Алексей пожал плечами:

– Извини, Ваня. Она сказала – доктор. Я и подумал – из твоего госпиталя. Ну, проговорился немного. Теперь уж... На него, Маша, по халатности похоронку прислали. А он у них был единственный. В тот же день у отца сердце отказало. А у матери – на следующий. Так что хоронили вместе... Дом опечатали, меня попросили присматривать. А потом – вот – Иван приехал, живой. Всё в сохранности было, так ведь?.. А как ты, Ванька, под шатуна попал? Зачем пошёл в лес? Передавали же...

Я сказала:

– Длинная история. Не рассказывай никому. Берёшь медведя-то?

– Отдадите – заберу. Только так: шкуру – мне, а мясо – вам. И разделаю сам. И в подпол к вам сложу. Ваньке сейчас медвежатина – в самый раз. Авось и поправится. Раз сам завалил, значит, навыки десантные не потерял. А сила – ещё восстановится.

Мы с Иваном переглянулись и промолчали. Алексей стал было допытываться:

– А вы, Мария, извините, не знаю, как по бабушке, как же вы его... Кто его нашёл-то в лесу? Или сам выбрался? А, Ванька?

Я сказала:

– Сам, конечно. Приезжаю, прихожу по адресу – а он весь в крови, только что приполз. Даже не помог никто, пустая улица.

– А когда это было?

– Уже пятый день.

– Сегодня пятница. Значит, в воскресенье! Так пили все. Зачем на улицу? Пурга была в воскресенье... Ну, ты, Иван, молодец. Просто заговорённый. Пули

тебя не взяли, медведь не осилил. Долго жить будешь. А инвалидность – это временно!

Иван ответил, что постарается, и отвернулся к стене.

Алексей тут же деликатно простился, велел обращаться по любому поводу в любое время и заверил, что прямо сейчас отправится за медвежьей тушей.

* * *

Я был в сильном смятении, не мог к ней повернуться. Довёл чем-то до слёз. А теперь она знает и про инвалидность, и про Чечню, и про десант. Это совсем никуда не годится. Про тот бой много писали и передавали. Ещё свяжет. Украинка, которая рассказывает чеченские сказки. Всё не так, всё не туда! Я, кажется, начинаю к ней привязываться, но что-то не то между нами. Какое-то излишнее понимание. Притом только с её стороны. А я не понимаю почти ничего. Откуда она взялась? Какая такая точность в судьбе вывела её на мой след? Почему она так странновато смотрит? Что такое наболтал я в бреду за эти смертные дни и ночи?

Слишком много вопросов. Они лезли, я пытался отвечать, отбивался от них и всё время ждал при этом, что мой доктор заговорит. Так и не заметил, как от излишней тревоги заснул.

* * *

Я не знала, заснул Иван или просто не хочет видеться. Только чувствовала, что надо помолчать. Сам

повернётся, сам заговорит. Долго он так не пролежит: ему на этом боку неудобно, я знаю.

Мне молчание было на руку. Мне требовалось время, чтобы осмотреться. Не сказала ли чего лишнего, не раскрыла ли себя? Кажется, нет. И второе – привести в систему новую информацию.

Главное – инвалидность Ивана. Это одна из причин его попытки погибнуть. Для воина – а он воин, ещё какой – инвалидность, конечно, хуже смерти. «На ложе, мучимый недугом, один он молча умирал». Вот именно, один. Родители умерли от горя. Это добавило ему страданий. Больше никого рядом, похоже, не оказалось. Да и кому тут оказаться – деревня в сто дворов. Если бы была какая, дождалась бы, конечно. Такого-то парня...

Итак, доктор, оставлять пациента одного вам нельзя. Клятва Гиппократа. Этот красивый гяур должен захотеть жить. Вот задача. Но как её решить? У воина прострелена душа. Лечить можно только душой. А ваша, доктор, душа, частью сгорела в костерке, где остался Аслан, а частью зарыта на окраине Томска.

...Эти пять месяцев в Томске, может быть, страшнее драки в Аргунском ущелье. Там хоть был азарт. А тут – сплошное отчаяние.

В городе полно кавказцев, китайцев и среднеазиатов. Торгуют, что-то промышляют, мостят тротуары фигурной плиткой, отделяют фасады домов. Среди кавказцев полно наших, чеченцев. И они-то чаще всех заговаривали со мной. По-чеченски. А я пожимала плечами и нараспев отвечала с кубанским акцентом, который казался мне похожим на украинский: «Шо вы сказали? Як-як? Та не понимаю я по-таковськи».

Из-за этих встреч пришлось поселиться на рабочей окраине, рядом с фабрикой, где делали спички и палочки для эскимо. Напросилась квартиранткой к старушке, которая жила одна в небольшом домишке. Рядом был пруд, за прудом – красивый православный храм, ещё не вполне восстановленный, но уже работающий. Старушка водила меня туда в платочке и учила молиться: «Отче наш, иже еси на небесах, избави меня от лукавого, не введи во искушение...» Я молилась искренне и каждый раз плакала, потому что во мне уже плотненько росло дитя смертного кровосмесительного греха. Я всей душой молила Создателя избавить меня от этого греха. И все дни трудилась у старушки на огороде, надрывалась изо всех сил, чтобы помочь Богу в Его заботах о моей душе. И тайно глотала кое-какие медикаменты.

Но мощное спортивное здоровье долго не поддавалось. Аллах сжалился только в конце пятого месяца. Схватки начались на грядках, куда я таскала воду в самых больших вёдрах.

Я сказала бабе Насте, что схожу в лес за грибами. И не услышала, что она ответила. Эти полчаса до леса и немного лесом были похожи на последний бой, когда я стреляла в Ивана. Только кругом были не голые буки и дубы, а высоченные, жёлтоствольные, вечнозелёные сосны. И акации, но не деревья, как на Кавказе, а кустики, мне по плечо, с нежными мелкими листиками, с жёлтыми цветочками. И грибы под ними. Тоже не такие, как на Кавказе. Моховики, подосиновики. Красиво. Монументально. Вечностью веет.

И я шла в вечность. И всю красоту запоминала. Потому что это было время умирать. Не шахидской

смертью, а обыкновенной женской. В медленных мучениях и позоре. Умирать вместе с обречённым ребёнком, у которого уже сформировалась нервная система. Я хорошо училась в Ростовском мединституте, по акушерству имела «отл», как и по остальным предметам. Даже по латыни. Но из всей латыни мне теперь вспоминались только три слова: «Финита ла вита».

Но жизнь кончилась только у моего несчастного сынишки. Он выпал беззвучно, уже мёртвый. Кругом были кусты тальника, такого же, как на Кавказе. А рядом бежала небольшая речка, имени которой не знаю до сих пор.

Я достала из корзинки маленький столярный топорик, точно такой же, как был у моего деда. Вырубила среди кустов могилку поглубже, выстелила гибкими ветками и уложила в неё свою грешную душу. Завалила, утрамбовала, сравняла с землёй, присыпала сушняком и пошла мыться. Речка была грязноватая и очень мелкая. Из илистого дна торчали железные прутья и разный мусор. Как раз напротив меня за колючую проволоку зацепился презерватив и полоскался, как белый флаг. В этом месте было противно умирать.

Впрочем, умирать везде противно. Особенно, если знаешь, как выглядит мёртвое тело.

Мёртвое не может выглядеть красиво...

Я вернулась без грибов и сказала бабе Насте, что, кажется, заболела. Она ответила, что ведь и говорила мне о моей бледности, а я не стала слушать. Теперь пусть я отдохну, всей работы по дому не переделаешь.

И три дня ухаживала, как за родной внучкой. Она была совсем старенькая. Я к ней так привязалась, что сразу не могла уехать, прожила до ноября. Денег она

с меня за постой не брала. Я расплачивалась помощью по хозяйству да разными покупками. На прощанье подарила ей телевизор. Но совсем остаться не было сил. Рано или поздно пришлось бы устраиваться на работу, перемещаться по городу, постоянно опасаться встречи с соплеменниками. А у них, я убедилась, глаз на своих был очень намётан.

Но главное – могилка. Я не ходила к ней. Не хватало духу. Да это было и не нужно. Она во мне. Маленькая и ледяная. У Аллаха нет бесплатных подарков...

* * *

Я лежал лицом к стене и всем затылком, всей спиной чувствовал, как плохо Маше. Она тихо, как кошка, ходила по комнате и почему-то не могла восстановить дыхание. Так дышат, чтобы не плакать. Снова слёзы. Почему? Чем снова обидел? Или у неё другая психика, другие причины для слёз? Те, которые она привезла с собой? На томский север из Краснодара. Или не из Краснодара?

Она металась и дышала открытым ртом. И не видела, что мой рот тоже нараспашку. Зато могла видеть, как напряжена моя спина – по той же причине. Я стал слезлив после ранений. Алёшка напомнил о родителях, и я легко представлял теперь, как они получили весть о моей гибели и что чувствовали. Как выжигало их души бессилие. И как не выдержало сердце – сначала у отца, потом у мамы. Отец тоже носил в себе пулю. Сквозь крышу бэтэра получил в 68-м году, когда с дружеским освободительным визитом посетил Чехословакию, в составе мотострелковой дивизии, которая базировалась

в братской Германии, в восточном секторе. Мама тогда его ждала все три года. И дождалась.

А вот меня Танька не дождалась. Нет, не так. Хуже. Танька меня дождалась. Но увидела не того Ивана, который мог лом на плечах согнуть. Инвалида увидела. И на другой же день передала через собственного отца, что отказывается. Её отец вместе с моим посещал Чехословакию, только не был ранен. Он пришёл ко мне с водкой. Говорил, что стыдно перед покойным другом и передо мной, пострадавшим честно за Родину. Говорил, что выгонит эту стерву из дому и тому подобное. Напился и ушёл. А я отправился искать шатуна. И нашёл Таньке странную замену. Совершенно непонятную суперменку, которая может складником перерезать глотку голодному медведю. Правда, складник у неё – ого-го... И походка пантерья. Загадочная особа. И красива странной, универсальной красотой. В любом народе была бы своя...

Мысли перешли на Машу, и слёзы высохли. Можно повернуться хотя бы на спину. Трудно мне пока лежать на этом боку. Но уже чувствую, что – пока.

* * *

Он хорошо владеет лицом. Но пока поворачивался, я всё же успела заметить, что это ему непросто. Дождалась взгляда, подмигнула и спросила:

– Не пора ли нам кого-нибудь сожрать?

Он охотно подыграл:

– Медведя ждать не будем?

Ударение, шутки ради, сделал на «я». Наш человек, споёмся.

Я сказала:

– Его там давно собаки растащили.

Он усмехнулся:

– Точно. Бедный Алёшка. А у нас куры ещё остались?

Я сказала:

– наших курей больше есть не будем. Нехай несутся. У доктора есть деньги на любую еду, даже на водку.

Тут раздался стук, и вошёл Алексей. Положил на стол бумажный пакет, из которого торчали какие-то корешки.

– Вот вам растопырка болотная. Это как раз на три бутылки водки. Измельчить на сантиметровые кусочки, залить водкой на три недели, потом процедить и пить по столовой ложке три раза в день. Вот вырезка из газеты «Аура», там все подробности. Для тебя, Иван, как раз. Можно и растираться. Я сам суставы лечил. Только во время лечения нельзя пить и курить. Мне было тяжело. А ты ведь не пьёшь, не куришь... Повезло вам, доктор. Идеальный пациент... Ну, я за медведем пошёл. Я уже смотрел, там след ещё виден, но больше никто вроде не ходил.

– Даже собаки?

– А они, доктор, шатуна боятся... Деньги-то на водку есть? Может, и на хлеб не осталось?

Я сказала, что есть. Он вздохнул облегчённо:

– Ну и ладно. А то я свои, что заработал, с девками прогулял. А Ванькиной пенсии – только на верёвку, извиняюсь... Ты смотри, Иван...

И вышел. Иван пробормотал вслед:

– Чего смотреть-то?..

Но, конечно, было ясно – чего.

* * *

Маша умела быть своей. Называла себя – «медик-циник-медик-циник». Легко говорила на любую тему об организме. Но я всё равно сгорал от стыда, когда приходилось пользоваться подкладной «уткой». Красивая женщина и поломанный урод. Притом самоубийца.

Две недели я так сгорал и упорно тайком тренировался. Методами статической гимнастики и самомассажа. Молодому телу всякая гимнастика впору. На пятнадцатый день сам встал и сам, с палкой, доковылял до сортира. Моя хозяйка хладнокровно наблюдала с крыльца.

Двор был расчищен от снега. Солнце било в глаза до слепоты. У Алексея во дворе вымораживалась на распялках медвежья шкура. Без головы. Голову он таксидермическим способом обрабатывал для украшения горницы: «Девон своих пугать». Он забегал к нам почти ежедневно. То с медвежатиной, то с картошкой, то проверить, как настаивается растопырка. Говорил: «Смотрите, как на коньяк похоже! Жаль, что пить надо с водой. Я попробовал без разбавки – ударило по низу живота. Но ты, Ванька, пей, не бойся. Она всем помогает». А Маша комментировала: «Будешь к завтраму здоровый, если нонче не помрёшь». Это не было обидно, это из русской сказки.

Мы с ней жили на удивление душевно. Я даже не верил. Думал, что только у моих родителей такое было возможно. Притом она со мной в поддавки не играла, не угодничала, а как-то ухитрялась говорить нужные слова в нужный момент.

Самое главное, что проклятый сон со стрельбой всё же перестал беспокоить. А когда я начал принимать

Алёшкину растопырку, сны вообще исчезли. Небытие. Настоящий отдых.

Правда, был ещё один сон. Довольно странный. Я как-то на ночь выпил стакан крепкого горячего настоя чаги. Во всех отношениях полезное пойло. И спал глухо. А перед пробуждением приснилось вот что.

Едва Его распяли и подняли крест, как землю начало трясти. Люди разбежались. Из трещин пошёл горячий сероводород, потом с его запахом вода, тоже горячая. Кругом молнии, конечно. Тут же образовывались грязные тучи, а сильный ветер их уносил. Под крестом земля лопнула, и крест провалился на три метра, до самых ног. Он остановился так, что Распятого сорвало с гвоздей. Он бродит по пустой земле, раны заживают в сероводородной воде. Он спрашивает в пространство:

–Ты меня спас или покинул?

Я рассказал этот сон Маше. Она его истолковала как начало излечения.

* * *

Иван очень трогательно стеснялся, когда я выносила из-под него «утку». Отворачивал лицо и напрягался так, будто силой мог отогнать от меня этот запах и эту неловкость. А я ухмылялась и вспоминала, что мои прошлые пациенты, доблестные ваххабиты в чеченских горах, совсем не стеснялись. Похабничали, матерились и вели себя с такой требовательностью, будто я им отдаю копейки с больших долгов.

Иван светился от гордости, когда сам пошёл на улицу в туалет. Меня к себе не подпустил. Заявил, что тренировался и уже вставал, когда я ходила в магазин.

Так что пусть я иду не дальше крыльца и то на расстоянии. Мне, при моём суровом воспитании, это было понятно и приятно. Он ковылял с отцовской тростью по ветхим доскам двора, а я боялась, как бы трость не попала в щель. Когда захлопнул за собой дверь, я взяла пихло – так они в Сибири называют снеговую лопату – и начала для виду подправлять сугробы. Последние две недели мело изрядно, приходилось чистить двор каждое утро. А теперь всё это сверкало на солнце и было похоже на маленький, мне по пояс, Кавказский хребет.

Когда Иван снова появился, во двор к соседу как раз заходили девки. Алексей их менял, и на этот раз были как раз новые. Одна так себе, другая – хорошенькая блондинка. Она несла пакет, в котором глухо звякнуло стекло. Когда Иван хлопнул дверью туалета, обе оглянулись. Он тоже посмотрел на них, но сразу отвернулся. Я к нему шагнула, потому что показалось – теряет равновесие. Но он строго мотнул головой и дошёл до дома сам. И сам поднялся на крыльцо, даже не поморщился.

Когда улёгся на койку, я спросила:

– Твои знакомые?

– Почему ты решила?

– Блондиночка посмотрела так...

– Как?

– Как-то горячо.

– Она это умеет.

И рассказал, что была у него здесь одна до армии. Ждать обещала. И дождалась. Но отказалась от калеки. Теперь вот – блудует. Наверно, отец её всё же выгнал из дома. Я возразила:

– Какой же ты калека?

Он сказал:

– Не врите, доктор. Я-то знаю.

– Вот до тех пор ты и калека, пока ЗНАЕШЬ. Что о себе знаешь, то и имеешь. Ты можешь представить себя снова – каким был?

– Нет.

– Ты должен суметь...

Он перебил:

– А зачем? Для чего и для кого?

– А я?

Это у меня вырвалось против воли. Я не хотела себя вмешивать. Я сказала это очень тихо. Теперь вдруг захотелось, чтобы не услышал. Но он услышал. Ответил сразу.

– Ты у меня сейчас единственный человек. Ближе нет. Но ты вылечишь и дальше поедешь. Я вижу: что-то тебя гонит... Вот скажи, откуда ты и куда?

Он не верил мне. Я сказала:

– Ничего о себе не знаю. Прошное уже не существует. А будущее – ещё... Но я знаю о тебе: ты боишься предательства. И моего в том числе.

Он молча кивнул. И смотрел в упор, как в прицел. Я сказала:

– Ты думаешь, что предают только друзья. Что лучше иметь врагов, потому что они предать не могут. А я тебе скажу, что друзья не предают. Предают только предатели. Водила я дружбу с одним предателем...

И замолчала. Я не могла рассказывать про Аслана. Это была братская дружба с самого детства. Я думала, крепче быть не может. Он легко предавал других, а я это прощала: такой, мол, дикий нрав, зато меня он

не предаст. А он просто берёт меня для большого предательства. Как рассказать это Ивану? Как самой понять: нужно ли хоть какому богу предательство во имя его? Что же это будет за бог? Может, и прав был Моисей, когда казнил половину своего народа за поклонение золотой отливке? Впрочем, у Ивана всё проще. Беспечная, обеспеченная деваха желала безбедной жизни с красивым парнем, вот и ждала его из армии. А дождалась с войны. Парней больше нет, а этого на себе тащить ей неохота. Вот и пустилась тратить единственный свой капитал – молодое здоровье. Всё нормально – для животных. А кто же я? Перед Иваном я в долгу. Это я его искалечила. И ни при чём тут политика. Там другой мир, который не может существовать без войны. А я врач, пусть и без диплома. Я клятву Гиппократа не давала, но я её знаю и признаю. И кроме неё кое-что есть. То, что отличает человека от скота. Стыд. Мне стыдно за всех, кто убивает. Поэтому я не смогла бы стать шахидкой. Даже если есть мусульманский рай, я не хочу в него: меня там замучает стыд. Перед теми беззащитными и невинными, которых я убью или искалечу. Не навреди! Мне стыдно даже перед Иваном, хоть и покалечила его в честной перестрелке. Но зачем была сама эта перестрелка?..

Нет, определённо студенчество меня испортило. Мишка-еврейчик называл это интеллигентской рефлексией. Он говорил: «Ах, чувство вины, чувство долга, ах, совесть! А жрать-то хочется! А переспать-то не с кем! А помыкнуть-то мы все не прочь! Ну, не все, не все, но ведь почти же все!» Мы смеялись его шуткам. А он не шутил. Наш маленький Ницше. Он рассказывал нам легенду о том, что где-то в мире есть такой человек,

от которого зависят все войны. Служит боцманом на эсминце или водителем бронетранспортёра, а может – и генералом, это неважно. Главное чудо в том, что он – единственный, на ком держатся все войны. Вроде опорного шеста в квадратной палатке: убери его – и палатка рухнет. Но этому человечку нравится служить, даже воевать. И война его щадит, чтоб из-за него не исчезнуть. А уйти он должен только сам. Только при этом условии все армии разбегутся. Где он, кто он, как его найти, как уговорить? Одно отличие есть: он слывёт заговорённым. Вот как я. Но я ушла, а война – не кончилась. Жаль...

А от Ивана я не уйду. И не только из чувства вины. И не только из долга врача. Он сильный, к сильным привязываются. До сих пор его сила была направлена к самоликвидации. Как прыгающая мина, на которую уже наступили. Убери ногу – и мине конец, и тебе. Это я на него наступила. Я должна его разминировать. Иначе погибну сама, без всякой помощи суровых соплеменников. Стыд меня сгложет.

Вот так я думала и молчала. А он молчал и ждал рассказа о дружбе с предателем. Я ещё разок ругнула себя за болтливость и решила отделаться сказкой.

– Скорпион говорит лягушке: «Перевези меня через ручей». Лягушка отвечает: «Но ведь ты меня ужалишь». «Да как же можно ужалить своего спасителя?!» «Ну, садись на спину». Плывёт скорпион на лягушке и думает: «Но ведь я должен её ужалить. Иначе какой же я скорпион?» Едва вылезла на берег, он ужалил. Умирающая лягушка упрекает: «Ты же обещал»...

– А скорпион отвечает со слезами: «Вот такое я дерьмо». Значит, не хочешь рассказывать. Вот видишь...

Он моложе меня. Он не изучал ни психологию, ни психиатрию. Но он сказал два слова, и мне нечем возразить. А ведь как высокопарно рассуждала: «Ему, непьющему и некурящему, остаться сейчас одному – верный суицид. Я должна любой ценой его спасти!» Вот, спасла... Соображайте, доктор, быстренько. Больной смотрит в упор и думает – о чём? О суициде? О смысле жизни? О смысле смерти? Да любовь же в его глазах! Там, в соседней хате, блудует сейчас бывшая его возлюбленная. Научно говоря, этот дистрессор можно ликвидировать только более сильным положительным...

К чертям науку! Я села рядом с ним и поцеловала. Он обнял...

Да, этими руками можно гнуть ломы на собственных плечах...

* * *

В начале декабря мы с Машей познакомились, а в марте съездили в райцентр и расписались. Теперь она не Карасик, а Микулина. И не Димовна, а Дмитриевна. Стала моей женой не из жалости, а я на ней женился не из благодарности. И не из мести Таньке. Всё как у добрых людей – по страстной любви. За новогодним столом мы оба вспомнили, что родство почувствовали оба в одну минуту, когда впервые посмотрели друг другу в глаза. Только так и можно УВИДЕТЬ. Мёртвый шатун, кровь, боль – и родство. Нормально и надёжно. На себе вытащила чужого человека, три месяца выхаживала... И мне совершенно без разницы, что ничего о ней не знаю. Она так же надёжна, как те ребята,

с которыми вместе я погибал в Аргунском ущелье. Больше не нужно. Я верю, что она училась в Ростове на врача, там же попала в шахидский взрыв и потеряла память. Даже если врёт, всё равно верю. Потому что люблю её. Сильнее этого доверия не бывает. Она немного старше меня, у неё что-то страшное в прошлом, но зачем ворошить? Прошлое не существует. Не надо ходить пятками вперёд.

* * *

Мне трудно далось это замужество. Что-то вело меня, притом так сильно и неизбежно, что сопротивляться оказалось бессмысленно. Хотя я и сопротивлялась. Как ни странно, особенно мешала мысль, что происходит не замужество по любви, а легализация. Меняю фамилию и отчество, окончательно растворяюсь в русской среде... И любовь как будто ни при чём. Становлюсь миной замедленного действия, ибо в меня заложено ваххабитское воспитание, и когда-нибудь оно должно будет сработать. Придут те, кто помнит и ищет меня, скажут заветное слово и подадут пояс шахида: «Не забыла, как пользоваться?» Так вот чёрта с два! Я не буду с вами даже разговаривать. Я знаю вас, волков. Я ударю первой... Я боролась с собой, как Иван с болем. Я доказала этой ваххабитке, что все боевые навыки больше не понадобятся, что они вообще получены зря, что сменила я только отчество, но не Отечество, что мне Сибирь и Кавказ – одна Родина, что я одинаково думаю по-русски и по-чеченски, что надо не убивать, а любить, и не бога любить, а человека, и бог простит, потому что для такой любви он нас и сотворил...

В общем, когда в районном бюро ЗАГС дежурно спросили, по любви ли выхожу замуж, я с чистой душой ответила утвердительно.

Работы для меня в Пасоле не нашлось. Только санитаркой при местном фельдшере. Но я отказалась. Жили на Иванову пенсию и на остатки тех денег, что я привезла с собой. В мае посадили огород. Главное – картошка, лук, чеснок, репа и морковка – витамины на зиму. И ещё земляная груша, неизвестное мне растение, похожее под землёй на картошку, а сверху – на подсолнух. Иван в родительских бумагах раскопал о нём (или о ней?) много интересного: и лечит, и питает, и многолетнее, и ухода особого не требует, и вкусное, и зимует в земле. Пища дикарей.

Сосед Алёшка, тоже сирота, завидовал нашим дружным трудам. Жениться он принципиально не хотел, огород имел запущенный и жил тем, что давала тайга. Сажал только картошку, да и ту забывал окучивать. Он слыл неплохим охотником, держал огромную белую лайку по имени Мастер. Этот пёс и был ему главным другом. Они вместе даже рыбачили. Он даже рассказал нам сказку – будто бы о своём знакомстве с Мастером:

«Сидит собака у реки и зовет:

– Эй! Кто в воде живет?

Звала-звала, выглянула рыба:

– Чего шумишь?

– Есть хочу.

– Копай червяков да и ешь. Справная пища.

Собака роет, рыба смотрит. Попался червяк. Собака прикусила да и выплюнула. Рыбе это смешно.

– Ах, так? – говорит собака. – Тебя съем!

Собака – в воду, рыба – прочь.

Вылезла голодная на берег, сушится и скулит.

А мимо скачет заяц:

– Ты чего, мокрая, скулишь?

– Есть хочу.

– Так ты глодай кору осинову – сила в ней.

Собака укусила кору – горько. А зайцу смешно.

-Ах, так? – говорит собака. – Тебя съем!

Бросилась на зайца, а он ускакал. Сидит собака, язык до земли, дышать нечем, слезы текут. А на колючий куст прилетела птичка:

– О чем, собака, плачешь?

– Есть хочу.

– Так лови мух. Они жирные.

Собака зубами щелк – и жует муху. Пожевала, выплюнула, осерчала и – на птичку:

– Тоже смеешься? Тебя съем!

Птичка улетела, собака вылезла из куста, плачет, колючки из боков выкусывает. Тут как раз человек – идет, не торопится, палкой себе помогает, на плече – мешок. Остановился и говорит:

– Красивая собака, поешь моего хлеба.

– Обманешь, – говорит собака. – Лучше сразу тебя съем.

– Не ешь меня, а то ударю.

Но собака бросилась. Человек ударил ее палкой и говорит:

– Храбрая собака, поешь моего хлеба.

– Ладно, – говорит собака, – давай попробую.

Съела хлеб и вильнула хвостом – один раз.

– Хорошо, – сказал человек. – Приходи в гости.

И пошел без оглядки.

Собака посидела, подумала и тайно пошла за ним.

Так дошли до его дома. Человек обернулся у ворот и говорит:

– Заходи, любознательная собака.

Собака не ответила и пошла прочь. Тогда человек улыбнулся и закрыл за собой ворота и дверь. Едва он скрылся в доме, собака забралась к нему в огород и легла между грядок. Человек это видел в окно, однако не вышел.

Скоро явился заяц и хотел выкопать из грядки морковку.

– Р-р-р, -сказала собака. – Пр-р-рочь, вор-р-р!

Заяц убежал. Человек это видел в окно, однако не вышел.

Прилетела птичка, стала клевать ягоды с куста.

– Пр-р-рочь! -сказала собака. – Р-р-разор-р-рву!

Но птичка засмеялась и села повыше – там ягоды еще вкуснее.

Собака залаяла.

Тогда из дома вышел человек и прогнал птичку. А собаке он сказал:

– Верная собака, пойдем ловить рыбу.

– Рыбу не поймать, – возразила собака. – Мы с тобой неуклюжи.

– Мы ее обманем, – сказал человек.

Он взял удочку и банку с червяками и пошел к реке. Собака пошла тоже – просто посмотреть.

Человек нацепил червяка на крючок и забросил удочку в воду.

Глупая рыба попалась.

– Ты эту рыбу съешь, – сказал человек собаке.

– Нет, – сказала собака. – Ты её сам поймал, ты и ешь.

– Скромная собака, – сказал человек, – давай жить вместе.

– Я подумаю, – сказала собака.

– Хорошо, – сказал человек.

Снова забросил удочку. Он поймал вторую рыбу и спросил опять:

– Умная собака, будем жить вместе?

– А хлеба нам хватит?

– Хватит, – пообещал человек. – Согласна?

– Я пойду, – сказала собака, – охраняю твою морковку и там подумаю. А ты пока лови рыбу.

– Хорошо, – ответил человек. – Вот тебе хлеб на дорогу.

Собака взяла хлеб, дважды вильнула хвостом и убежала.

Человек наловил рыбы и пошел домой.

– Красивая собака, – сказал он в огороде, – храбрый собака, верная собака, скромная собака, любознательная собака, честная собака...

– И добрая, – добавила собака.

– Добрая собака, – сказал человек, – будешь со мной жить?

– Уже живу, – ответила собака».

Я сказала Алексею, что он хорошо рассказывает, складно. Только что-то я нигде такой сказки не читала.

Он совершенно серьёзно ответил:

– А где бы ты её прочла? Я ж говорю – это о нашем с Мастером знакомстве.

– Сам, что ли, сочинил?

– Да. Устная народная сказка. По-научному – фольклор. А ты запоминай, будете с Иваном своим деткам рассказывать.

Спасибо, добрый друг Алёшка. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Хоть и не всегда ведают, что творят.

В июле, когда мы окучили без Алексея его картошку, он так растрогался, что пришёл с водкой и свежей стерлядкой. И сказал:

– Таньку я прогнал, Ваня. Ты не обижайся, что я тут с ней немного... Как бы у тебя на глазах. Женщине ведь отказывать – грех большой. А потом можно и прогнать... Это, Машенька, к тебе не относится. Ты – человек. Мне Иван на ухо сказал, что это ты медведя зарезала. Я охотник, я это понимаю. Я уважаю тебя. И я рад за Ваньку. Ему как раз такая жена была нужна. Мне тоже такая нужна, но – не судьба. И хорошо, что не судьба. Не нужна мне такая жена. Мне нужна домоседка. Но чтоб не гуляла. Но это несовместимо. Таёжнику и моряку постоянную женщину нельзя иметь. В общем, мир устроен справедливо, но неправильно. И нечего ломать над ним голову. Будем жить.

И сам допил свою водку. А потом сделал предложение.

– Вот что, ребята. Я немного постарше вас. Вам стоит меня послушаться. Тут приехал братан ко мне. Брат двоюродный. Или как там – от другого отца. Сводный? Я его помладше. Запутанная семейная история. В общем, у меня фамилия – Лобов, а у него – Босой. Забавно, нет? Да ещё зовут по-княжески – Игорь Олегович. Хотя еврей, конечно, такой же, как я. Мать у нас еврейка, но предпочитала русских мужей.

Когда её свои укоряли, она смеялась: «А всё равно у нас национальность по матери передаётся!» Я её обожал. Настоящая была русская женщина. Но на этом юмор кончается. Брат мой – серьёзный человек. Командует экспедицией в геофизике. Это, если по-заводскому, начальник цеха. Там несколько экспедиций, над ними – трест, а над трестом – Росгеофизика. Ну, это просто так, для сведения, что не хухры-мухры. Геофизики идут первыми, они с планетой на «ты». Они геологам показывают, где искать, а те показывают добытчикам, где ставить забой. Между прочим, у них – что нефтяная скважина, что шахта – одинаково забоем называется. Я в геофизической партии немного работал. Но это тоже так, к слову. Короче говоря, есть ещё одна геофизика, промысловая. Она работает с добытчиками. Указывает буровикам, куда бурить, глубину бурения, глубину нефтяного пласта – ну, это тоже неважно. Главное, что там у них есть взрывчатка. А эту взрывчатку надо охранять. Вот поэтому Игорь и приехал. Они разрабатывают новое месторождение, называется Лосиное. Ставят там склад ВВ – взрывчатых веществ. Ещё говорят – ВМ – взрывчатых материалов. Ну, это не важно. Важно, что на этот склад нужны охранники. Два человека. Люди надёжные, чтоб за них ни у кого не болела голова. Братан зовёт меня. Я-то раньше охранял такой склад. Говорит: хорошее дикое место, охота, тишина – всё, что мне нужно. Только найди напарника. Я и подумал о вас.

Иван сказал:

– Но нас же двое. Нам врозь нельзя. Опять же, у меня инвалидность. А там, поди, вахтовый метод. Медкомиссию не пройду.

– Это ты не прошёл бы, если бы самолётом летать из города. А здесь – только вездеходом. Два часа на «газушке». Знаешь, гусеничный вездеход, ГАЗ-71, даже плавает маленько.

– Шумный такой, рычит, как бэтээр.

– Да, противная машина. Но на нём только летом. А зимой – на колёсах по зимнику, с комфортом. Две недели там, две недели дома. А можно – по месяцу. И платят – как доцентам.

Я напомнила:

– Но ему нельзя одному. Даже с тобой. Ему медик нужен.

Алексей засмеялся.

– Знаем, какая у молодожёнов медицина! Но я не всё сказал. Вы слушайте. Братан говорит: «Ищи себе напарника, а мне ещё смену вам искать». Понятно, да? Две недели работает одна пара, а потом их сменяет другая. Одна моя, другая ваша! Я себе напарника найду, нет проблем. А вас я Игорю предложил сразу. Извините, разрешения спрашивать было некогда. Понадеялся, что простите и согласитесь.

И очень славно ухмыльнулся. Он так ухмылялся только своему лохматому Мастеру.

Я спросила:

– А Мастера куда денешь?

– А куда? С собой, конечно. Он у меня – «второе Я». Короче, вечером мы с Игорем ждём вас. Дело срочное, завтра надо ехать.



ВООРУЖЁННЫЙ КУРОРТ

Медкомиссию и в самом деле проходить не пришлось. Оформили нас не охранниками, а рабочими подменной партии. Это значит – делай, что скажут. Местных на вахтовый метод тогда так ещё можно было брать.

Приехали на месторождение. С собой – только немного продуктов. Босой сказал, что там столовая рядом. Но Маша всё-таки прихватила котелок, чайник, миски, кружки и ложки. Всё алюминиевое, по-походному.

Ехали в обычной одежде. Босой сказал, что спецовку выдадут на месте. Сказал он, что жить там будем прямо на объекте, потому что склад кратковременный, как бы почти не существующий. Я сказал: «Временные сооружения – самые живучие». Он подтвердил: «Т-так т-точно. З-знай продляй разрешение раз в полт-тора года. – И добавил: – Т-только учтите, ребята. В отпуск будете х-ходить врозь».

Он ехал на «газушке» вместе с нами и всю дорогу держал между колен кавалерийский карабин образца 1944 года. Сказал о нём : «М-мой ровесник».

Дорога была – разбитый зимник. Вездеход качался, нырял, задирает то нос, то корму, и стены хвойного леса по бокам дороги вели себя точно так же. Маше такая езда нравилась. Раньше я моментами замечал в её глазах тоску, а теперь был такой весёлый азарт, будто

она вернулась, наконец, к любимому занятию. Жадно глазела в маленькие окошки брезентового тента, часто улыбалась. Босой за ней наблюдал и мне подмигивал: «Эт-то ей не в К-краснодаре! Т-там т-такого леса нет! Т-там степь!» Маша его слышала и кивала.

С нами с салоне больше никто не ехал. Остальных везли самолётом из Томска и вертолётom из Северного. Дорогое удовольствие. Но дешевле, чем строить в тайге постоянное жильё. Им даже бельё стирали в Северном. Вот его мы и везли в тюках. И нашу спецовку тоже.

Вахтовый посёлок явился через три часа езды.

Основательным строением там была только щитовая столовая. Остальное – жилые вагончики да подсобки. Точно посреди посёлка чадил газовый факел. Он походил на букву «Т» с загнутыми вниз концами, из которых бил огонь и капала в воду горящая нефть. Чтобы вода не растекалась, вокруг факела, как вокруг городского фонтана, был насыпан грунтовой вал. Над факелом стоял столб чёрного дыма. Из одного горла дым выдыхался кольцами, они тоже ввинчивались в небо. Этот огненный фонтан выглядел жутковато. Маша сказала:

– Змей-горыныч!

Пока огибали факел, Босой показывал:

– В-вон там буровики живут, эт-то их котельная, в-вот-т станция подготовки н-нефти, рядом есть бассейн с горячей сеноманской водой, с двухкилометровой глубины, там можно лечить рад-д-дикулит...

У котельной из большой автоцистерны переливали нефть в более крупную ёмкость. Я спросил:

– Котельную нефтью топят?

– Ну да! Свежей, ещё горячей, прям-мо из глубин.

– А рядом в факеле зря сжигают газ. Почему?

Он таинственно ответил, что газом топить «нетехнологично». И показал:

– А в-вот и наша база.

База геофизики примыкала к самому лесу. Вагончики и дощатый гараж были составлены так, что замыкали квадратный двор. Обращённую к лесу сторону двора занимал всего один вагончик, зато рядом с ним был шлагбаум, а за шлагбаумом – большая квадратная загородка из колючей проволоки, с тяжёлым висячим замком на колючих воротах. В загородке стояли три стальных ящика без окон, каждый величиной с автомобильную будку. Все они были установлены на полосья из толстых труб, выкрашены алюминиевой краской и увешаны такими же замками, как на воротах. Рядом с ними торчали мачты с громоотводами. Босой сообщил:

– В-вот ваш объект.

Мы выгрузили из вездехода тюки и занесли их в гараж, где оказалась отгородка, именуемая вещевым складом. Из этих тюков нам тут же было выдано постельное бельё и спецовка. Мы отнесли вещи в свой вагончик, а Босой нёс карабин. В вагоне уже лежал на столике пустой журнал, и мы поставили в нём первые росписи о приёме оружия и двадцати патронов, которые наш начальник извлёк из кармана своей необъятной куртки. Он и сам был необъятного телосложения, совсем не похожий на поджарого сводного брата. Лысая голова с выпуклыми глазами и с клиновидной бородкой, лёгкое заикание – всё это было от какого-нибудь юриста царских времён, а вовсе не от лихого первопроходца с тридцатилетним полевым стажем.

Когда расписались за оружие, Босой заявил без улыбки:

– В-вот этот к-караб-бин и патроны – ваш главный охраняемый объект. В-взрывчатка в контейнерах специфическая, она ник-кому не нужна. А в-вот поохотиться тут все любители... Вы, к-кстати, как на этот счёт?

Мы оба сказали, что убивать животных не любим. Он вздохнул:

– Зав-видую. У м-меня дома и к-карабин охотничий, и винчест-тер... П-правык когда-то в экспедициях. Эт-тим ведь кормились... Давайте-ка проверим связь.

И позвонил с нашего телефона жене в Северный. Сказал, что уже выезжает и к ночи будет дома. До Северного – триста километров. Но уже по бетонной дороге и на легковом «уазике».

Было первое августа. Дождик моросил уже по-осеннему.

* * *

Иван согласился на вахту с некоторым недоверием. Сказал наедине, что без меня не поехал бы. И вообще не жил бы. Но он об этом говорит последний раз и больше не будет. Взялись попробовать – давай попробуем. Он тоже верит пока, что молодость может справиться с такими травмами.

Я спросила, как он относится к тому человеку, который ему эти травмы нанёс. Он сказал:

– В бою мы старались убить друг друга, это нормально. А в мирной жизни, может, были бы друзьями. Жизнь вообще – дело тёмное.

Это очень важно. Это было вроде прощения. Но всё равно я ни за что не рассказала бы ему. Ведь своё желание выжить и вылечиться он связывал только со мной. Но я – очень даже смертна. Во мне очень тяжёлая травма. Только рядом с Иваном она не дышала таким смертным холодом. Просто лежала где-то внутри, как холодный камушек. Лишь тогда бывало совсем холодно, когда тело напоминало, что больше оно рожать не хочет и не может. Я, наверно, и сама покочевала бы по этой Сибири, по этой Земле да и улетела бы с тоски на какую-нибудь другую планету. Теперь можно было только удивляться, как заботливо, как вовремя Аллах послал мне такого же спутника, как я сама. Еврейчик Мишка обязательно позубоскалил бы по этому поводу. Мол, два костыля – пара.

Вот, опять вспомнила родной ростовский лечфак. Надо ж было так глупо недоучиться.

Впрочем, с дипломом врача я должна была бы работать на виду, и тогда лихие ваххабиты нашли бы меня без особого труда.

До чего же безвыходная штука жизнь. Думаешь, что идёшь сама, а оказывается – это она тебя ведёт, толкает, тащит волоком – к верной смерти. За что любить её, такую? У Мишки была и ещё шуточка: «Говорим, что после смерти окажемся в лучшем мире, но почему-то изо всех сил цепляемся за худший».

Вот, кстати, интересный вопрос. Боюсь ли я ваххабитов, если сама была ваххабиткой? Ответ положительный: да, боюсь. Потому что – была. Потому что перестала верить свирепым догмам. Потому что всех людей для себя уравнила и молюсь язычнику Гиппократу. Не навреди. Это гораздо труднее, чем подстеречь и уничтожить неверного. Да ещё за доллары.

Чума, чума на все ваши дома! Видеть вас не желаю! Буду жить самой простой жизнью в самой глухой тайге, буду есть пищу дикарей, эту земляную грушу, но не буду больше стрелять по людям...

Однако вот ведь что забавно: оружие-то меня опять само нашло. Вот он, кавалерийский карабин трёхлинейного калибра, и патроны к нему, как у автомата Калашникова. Я не хочу убивать, а смерть следует за мной. Теперь, значит, христианский бог искушает меня? Он ведь любит испытывать нас на вшивость, как говаривал Мишка-еврейчик. С Аллахом проще: погибаешь в бою с неверными – и в рай. А христианину душу надо пестовать, чтобы она вылетела из тела, как прекрасный мотылёк из личинки ...

Бедный мотылёк моего нерождённого ребёнка... Нет справедливости ни в чём и нигде. И никогда не было. Но потому, наверно, жить можем, что надеемся на будущую справедливость?..

Нельзя столько думать об этом. Вообще думать вредно.

Чего добивалась покойная мама, заставляя меня учиться? Неужели не понимала, что знание и слепая вера – вещи несовместные? А зрячей веры просто не может быть... Есть уверенность – это от знания. Есть надежда – это от души и для души. И есть вера – утешение невежд. Мама, зачем ты заставляла меня учиться?

Впрочем, если бы не заставляла, я бы и без этого выучилась. Человек рождается с готовыми склонностями. Среда только развивает их или тормозит. Я родилась готовой к учёбу. Мама разглядела способности и никому не позволила помешать мне. Она говорила

всем: «У Марьям талант к учению. Она будет нужна своему народу знаниями. Будет лечить и учить. А домашних хозяек хватит и без неё». Мама! Твоя Марьям не стала никем. Даже матерью твоих внуков. Даже шахидкой. Теперь она попробует стать просто домашней хозяйкой. И спасти гяура. Это очень добрый гяур. Его обязательно надо спасти. Аллахоугодное дело, как сказал бы еврейчик Мишка.

* * *

Маша оказалась совой. Она взяла себе все ночные дежурства. А мне велела спать и спать, квантум сатис, то есть – сколько влезет. Она забавно говорит, что сон нужен человеку для ремонта. Весь день глупый разум заставляет бедное тело вкалывать мимо всех желаний, поэтому оно и отрубается, чтобы ремонтные бригады успели за время сна навести порядок. Сказала: «Сном излечишься».

Я спросил, не помнит ли она, почему не стала учиться дальше в институте. Ответила, что не помнит. Я спросил, а не хочет ли она сейчас доучиться. Ответила, что не хочет. Она о своём личном говорит коротко и односложно, как индеец у Фенимора Купера. Да и вообще она мало говорит. Совсем не женское достоинство. А мне хочется с ней говорить. Она интересная рассказчица.

Сегодня утром, сдавая дежурство, рассказала о маленьком приключении. Услышала в три часа сильный удар, аж вагон задрожал. Вышла во двор, осмотрелась. К нашему вагону приколочена железная мачта одного из громоотводов. Во все стороны от неё идут растяжки из тросов. Об одну растяжку ударились сова. Видимо, её

ослепил прожектор – один из четырёх, которые светят на хранилища ВМ. Сова копошилась в трёх шагах на земле, Маша её хорошо рассмотрела. Но когда хотела помочь, та ускакала под вагон. Здесь почва болотистая, все строения стоят на сваях или на полозьях.

Потом Маша спросила:

– А знаешь, почему весь наш вагончик нефтью забрызган? Это ветром от факела несёт.

– Но до него же метров полста!

– Семьдесят. Когда я выходила, был сильный порыв. Может быть, такой же сбил сову с курса. А мне забрызгало нефтью всю физиономию. И воздух, как из выхлопной трубы.

– За это здесь сторожам и платят, как доцентам...

– Ну и пусть. Я уже слышала, что зимой наш склад перевезут в базовый посёлок Лидер. Там строят новые хранилища. Не на краю посёлка, а совсем в лесу. Вот где Алексею с Мастером будет раздолье.

Она все новости успевала узнавать раньше меня. Это понятно. Коллектив мужской, женщина красивая, всем хочется поговорить и удивить. А чем удивлять? Новостями. Например: «Вы, Машенька, правда, никогда не видели клюквы?! Так мы вас числа десятого сентября свозим на болото... А пока вот вам береста, вот так сверните, вот этим шнуром прошейте – получится коноба, будете в неё клюкву собирать». Она меня спросила: «Не ревнуешь?» Я сказал: «Мы с Гиппокра- том тебе доверяем». Она засмеялась: «Ты уже шутишь, как Мишка-еврейчик». Что ж, с кем поведёшься. Я скорее ревновал бы её к этому Мишке. Он не сходит у неё с языка. Всё прошлое своё забыла, а Мишку помнит. Надо же...

* * *

Постоянно думаю, верит ли Иван в мою потерю памяти. Кажется, что не очень. Кажется, я слишком часто вспоминаю высказывания Мишки-еврейчика. Подозрительно выборочная забывчивость. Как-то Иван даже осторожненько намекнул на это. Я ответила с важностью профессора, что этот феномен легко объясняется моей чрезвычайной чувствительностью к словесности. Я очень начитанная, легко усваиваю языки, и этот сектор памяти у меня совершенно не пострадал. В общем, лапша на уши. Но Иван хотел поверить и поверил. Они с Гиппократом доверяют мне, и я это ценю. Даже моя ложь о потере памяти – больше не ложь, а сильнейшее желание забыть о ваххабитской жизни.

Та жизнь кажется мне противоестественной не только из-за её ограниченности. Мы ведь жили не одни. Мы были перемешаны с русскими, с казаками. У них была своя церковь, своя культура. Но ходили мы все в одну школу. Казачата, как и мы, говорили на двух языках. Забавно: я не раз слышала, как русские мальчишки матерились по-чеченски, а наши – по-русски. Предпочитали почему-то.

Но было ещё домашнее, закрытое обучение. Национально-религиозное. Совсем не такое, как в школе. У русских, знаю, этого не было. А во многих наших семьях детям преподавали двоедушие. То была обида за покорение Кавказа русскими царями и за высылку чеченцев при Сталине. Кто-то старательно подбрасывал дровишки в костерок ненависти. А я была умная девочка и довольно быстро всё поняла. И сначала поверила: Кавказ должен быть один

и свободен. Я готовилась его освободить. Этому учил дед, и он гордился моими успехами. Он любил слушать, как я по памяти читала Коран на арабском. Он не возражал, чтобы казаки жили вместе с нами. Но пусть примут истинную веру. Аллах таки ж акбар.

Чего хотела мама, я так и не поняла. Она соглашалась с дедом, но она была советским партийным работником. Она гордилась тем, что обе нации одинаково уважают её за честность. А выше честности она ничего не признавала. Только уточняла: честность перед собственной совестью. И я долго доходила детским умом: как можно отделять честность от совести? Разве это не одно и то же? Любимым предметом в школе была литература, я в ней находила многие ответы. По случайному пособию освоила курс быстротчтения и прочла всю сельскую библиотеку. Но с совестью и честностью пришлось разбираться самой. Однажды вдруг задумалась над отменённым лозунгом, который разве что на заборах не писали: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Никогда его не замечала, а когда отменили – задумалась. Сначала – почему только «нашей эпохи», почему не любовью? Потом – почему только партия? Ум, честь и совесть должны быть у каждого и всегда. Дальше – насчёт ума: не у всякой партии его может быть больше, чем у одного мудреца. Есть даже математическая шутка: «Суммарный разум толпы всегда меньше наименьшего из слагаемых». Оставались честь и совесть. И только тут до меня, такой умной, дошло: ведь честь и честность – вот что одно и то же! Нет честности – и совесть можно подавить. Сильная воля для этого найдётся у любого негодяя.

Я уже знала, что в человеке есть два разума: сознание и подсознание. Первым можно управлять, другое – само по себе. Но если подсознанием нельзя управлять, то хоть подслушивать-то можно? Попробовала – и получилось. Может быть, это был мой первый медицинский эксперимент.

Впрочем, нет. Первый эксперимент я поставила в четыре годика. Кто-то нечаянно растоптал во дворе жёлтенького пухового цыплёнка, и его выбросили на помойку. А я подобрала, уложила внутренности на место и зашила. И стала ждать, когда оживёт. За этим ожиданием меня застала мама и сказала: «Этот ребёнок будет врачом, и нас не остановить».

Так что, эксперимент с собственным подсознанием был первым только по успешности. Я научилась слышать слабый голос совести, когда творила жестокость или иную несправедливость. Пришлось, правда, поразмыслить ещё о понятии справедливости. Оно не было медицинским и раскрылось не без труда. Я давала ему множество определений, но все меня не удовлетворяли. Всегда получалось, что справедливость имеет обратную сторону, обидную хотя бы для кого-то одного. Например, чтобы накормить голодного, надо отнять у сытого. Только медицина, как это ни забавно, помирила все мои определения: «Не навреди». Это для меня означает, что справедливость – не результат, а процесс. Если непрерывно стараться не навредить, ты не только сама себе будешь казаться справедливой, но и люди станут тебе доверять. Пока это наибольшее, на что я способна. Кажется, такой была и моя мама.

По настоянию мамы я готовилась поступать в ростовский медицинский институт. Даже успела поработать

санитаркой в районной больнице. Мама не знала, что у меня уже давно началась самая настоящая медицинская практика. Каждое лето в горных лагерях я не туризмом занималась, а воинской спецподготовкой – всем, что нужно для успешного боя в горах против превосходящего противника. Вся медицина там лежала на мне, а травматизма в таких делах предостаточно. Если бы не эти лагеря, не видать бы мне и мединститута: дед имел достаточно власти. Но дед кратко кивнул на мамины требования: «Хорошо, пусть поступает».

И я поступила. По особому федеральному списку, как национальное меньшинство. Впрочем, всё сдала на одни пятёрки, без поддавок.

Вот тут моё подсознание и закричало в полный голос: «Книги!» Я уже знала латынь, зубрёжка медицинских терминов давалась мне в одно касание, и я могла читать всё, что захочу. А я хотела многого. В моём подсознании был готов длинный список очень разной литературы – и художественной, и очень специальной.

Начала я, конечно, с Библии, категорически запрещённой для ваххабитки. Потом удалось достать Талмуд. Пощипала и прочие религии, благо библиотек в столице Дона хватало. Для отдыха пролистывала Гёте и Боккаччо. Внимательно изучила мудреца Экзюпери. Упивалась небесно прозрачным Пушкиным. Скрипя зубами, выучила наизусть лермонтовского «Беглеца» и «Колыбельную», где «злой чечен ползёт на берег». Перечитала много раз «Хаджи-Мурата» и ради артиллерии поручика Толстого простила поручику Лермонтову его спецназовское прошлое. Задыхалась в рыданиях над рассказами Шаламова.

Открыла для себя Лескова и – поняла русскую душу. Только Чехова так и не приняла: не мой оказался писатель. Вообще не люблю читать о стыдном. Это не будит мою душу, а унижает. Волчица, что взять...

На каникулах я снова ездила в ваххабитские «туристические» лагеря, продолжала спецподготовку. Но это происходило уже в скрытых муках двоедушия. Мне стало слишком мало этого примитивного героизма. Парни вокруг меня молились Аллаху только для вида. Они просто ничего, кроме войны, не умели и не хотели. В них не было великодушной крестьянской основательности, которую я находила в русских студентах и в наших деревенских коровах. Мои боевые товарищи любили коровье молоко, но были не прочь сожрать и саму корову. Они были волки. А когда сапиенс сознательно причисляет себя к волкам, какого отношения он может ожидать от людей настоящих?

Каникулы перед последним курсом я провела в библиотеках. Однокурсницы удивлялись: «Почему не отвечаешь ни одному из наших мальчиков?» Я отвечала: «Потому что – мальчики». Не могла же я рассказывать им, что происхожу из волков и стараюсь превратиться в человека. Я даже маме этого так и не сказала. Хотя подозреваю, что она это во мне СЛЫШАЛА. Женщина всегда СЛЫШИТ свой плод – и в утробе, и до самой смерти. Я прошла это знание самым коротким и ужасным путём. Даже после смерти СЛЫШУ своего...

Вот всё это Иван хотел бы узнать... Нет, дорогой, не узнаешь. Я всё это забыла. Ты не волк, ты воин и мужчина, я выбрала тебя, но в моей подкорке даже мне самой не всё можно...

Я чувствую родство с той совой, которая прошлой ночью вылетела в луч прожектора, ослепла и ударилась о растяжку. Она упала в тень нашего жилища, пришла в себя, увидела опасность и скрылась во тьме под вагоном. Так и я – забились в самую глухую тайгу...

* * *

Я каждый день, по совету Босого, ходил парить организм в сеноманской воде. Это был бетонный бассейн три на шесть метров. До половины он был заполнен вонючей, мутной зеленоватой водой. Той самой, от которой в моём сне заживали раны Распятого. Вниз по стенке вела железная лестенка. Вода была горячая, но вполне терпимая. И к запаху сероводорода я быстро привык. Даже вроде сроднился. Всю вахту организм сам просился туда. И Маша объясняла, что надо непременно дать, если просит. Только не дольше двадцати минут. Это она знала из курса курортологии. Да и девочки на станции подготовки нефти это подтверждали. Им было предписано гонять таких курортников от бассейна, но они пренебрегали. Особенно когда увидели мои шрамы.

В середине сентября, в «бабье лето», Маша поехала за клюквой. Взяла с собой берестяную конобу, которую я сшил ей в августе. «Бабье лето» – самое красивое время. На таёжном болоте – особенно. Я дежурил и завидовал. Жёлтые листья на чахлых болотных берёзках. Разноцветные мхи на кочках и между. А на мхах – яркая клюква, разных сортов и разной красноты. И голубика ещё висит... Но я всё это много раз видел. Я завидовал Маше как раз в том, что она увидит это впервые.

И воздух там. И мох провисает под ногами. И тёплый ветерок. И комаров уже нет, и мошек. Правда, есть опасности. Но я её проинструктировал: и насчёт зелёных гадюк, и про топи...

Я дежурил, завидовал, немного нервничал и ждал, что она расскажет. Хоть и немногословна, а рассказывать она умеет.

* * *

Считается, что человек ко всему может привыкнуть. Я, помню, как под обстрелом постепенно притуплялось чувство опасности, и люди переставали кланяться пулям и оборачиваться на взрывы. Уцелел – и ладно.

Нечто подобное происходит и в лесу, особенно на таёжном болоте...

Светило солнышко, ветерок был лёгкий и тёплый, клюква уродилась, комары уже не донимали, как в июле – в общем, образцовое «бабье лето». Даже ни одного медвежьего следа в этот день не попало.

Я мягко шагала по рыжему болоту. Оно тянулось в три стороны до горизонта, только сзади темнел сосняк, из которого я вышла час назад. В корзинке было уже на треть крупных ягод. Я брала только крупные. Они редко разбросаны по зелёным «окошкам» между кочками. За каждой присядь, но зато добыча выглядит солидно. Да и корзинка наполняется крупным скорее. Они совсем как земной шар – немного сплюснутые с полюсов. Есть такие же, но среднего размера, на кочках. Попадают крупные, но продолговатые, похожие на напившихся клопов. Самые

вкусные. И такие же, но мелкие, размером с клопов, их я не беру. Клюква бывает светло-красной и тёмно-бордовой. В общем, масса открытий. И ящерицы – совсем как у нас. И змея болотная, зелёная, невиданной красоты. И мелкие лягушечки разного цвета. А в трёх километрах под ногами – море нефти, но оно не плещется, а просто пропитывает скальную породу под весьма высоким давлением. Какое у планеты артериальное давление?..

Я чувствовала себя хозяйкой всего этого бесценного безбрежья и представляла, что раньше здесь было море, да вот за тысячи лет заросло прочным ковром. Ковёр прогибается под сапогами, но не прорвётся, если не прыгать на одном месте, а идти мягко, держась поближе к кочкам. И вся эта клюква, вся перезревшая голубика, вся жёлтая морошка – моя. Могу сорвать любую, съесть (хотя уже набила оскому) или положить в корзину. Могу сесть на кочку, съесть бутерброт, запить чаем из термоса, и тогда снова захочется бросить в рот ягоду. Ну, и так далее.

Как и в горах, на болоте нет ничего опаснее благодушного настроения.

Я заметила впереди сверкающее водяное «окно», не затянутое моховым ковром, и слегка уклонилась от курса. Поперёк моего пути заструился к «окну» узенький ручёек. Я – хозяйка тайги и болот – решила его перепрыгнуть и мягко оттолкнулась от «ковра». Через секунду моя корзинка лежала на боку, на другой стороне ручейка, сама я висела по грудь в ручье, опираясь растопыренными пальцами на воздушно-податливый пушистый мох, мой рюкзачок оставался у меня за спиной, лежал пока ещё на мху, но уже начал намокать

и мог утащить меня на дно. А где это дно, спросить можно было только у собственной памяти. И она сообщила, что Васюганские болота считаются самыми глубокими в мире: до дна – восемнадцать метров.

Я не служила на флоте водолазом, но для меня нырнуть на 18 метров было нормальной работой. Только не с рюкзаком и не в болотных сапогах, а с аквалангом и в ластах. Впрочем, об этом я не думала, повиснув между берегами ручья. Я вообще не думала. Я настолько не думала, что даже не испугалась. Я выпростала левую руку из-под лямки рюкзака и положила её рядом с правой. Немедленно за этим выдержнула и правую – пусть рюкзак тонет без меня, хоть и жалко термоса с чаем. Я не позволила себе барахтаться, а на одних руках, расставляя их пошире, начала нежно выползать на тот берег, где валялась корзина: он почему-то показался мне прочнее. Намокли рукава до плеч и энцефалитка до горла. Намок в нагрудном кармане блокнот. Было жалко топить сапоги, тем более что снять их было, кажется, невозможно. Было очень интересно, долго ли будет этот моховой «берег» подминаться под меня и уходить в воду. Было жалко разбросанной у корзинки крупной клюквы. Было жалко топить рюкзак...

Не могу вспомнить точно, как удалось задрать одну ногу настолько, что она стала плоскостью опоры. Но после этого я вылезла на «ковёр», дотянулась до рюкзака, собрала рассыпанную клюкву, отползла ещё немного и перевернулась на спину. Аллах смотрел на меня с солнечных небес и радовался.

Я осторожно поднялась на дрожащие ноги. «Ковёр» держал. Рюкзак не утонул.

Чтобы мокрой не замёрзнуть и не дать болоту высосать моё тепло, пришлось от кочки к кочке, энергично, но осторожно, плавной дугой уходить с болота, собирая по пути крупные ягоды, обходя блестящие места и не делая резких движений. Полкорзинки всё же набрала. Чай выпила в лесу, на ходу. До буровой дошла благополучно, не заблудилась. Да там и не заблудишься: шум моторов слышен далеко. Ребята-партийцы включили для меня в машине печку. Я им сказала, что просто зацепилась ногой за корень и упала в канаву на краю болота. Пока они закончили работу, одежда на мне просохла.

Испугалась я уже дома.

Честно рассказала всё Ивану. Было даже приятно казаться слабой и испуганной. Ожидала, что он скажет: «Больше ни на какие болота не пойдёшь». Он это сказал, но потом усмехнулся и добавил: «Завтра. И послезавтра. Отдохни и всё прочувствуй. Выспишься ночью, а я подежурю. Вообще, ты молодец. Врождённая таёжница. Грамотно себя вела. Теперь меньше буду за тебя бояться».

Вот это муж. Настоящий абрек.

* * *

Она едва не утонула. Я и не подозревал, что могу паниковать. Правда, ей ничего не показал. Но когда она заснула, началось представление. На меня пёрло кино: вот она не может забросить тяжёлую ногу на мох, а мох её не держит. Откатанные болотные сапоги прилипли к ногам, не снимаются. Руки слабеют, ноги свело, мокрая

одежда тянет вниз. Она озирается, надеется на чудо, а вокруг – никого... Несколько раз даже выходил во двор, чтобы освежить голову. Но ветер дул от факела, дышать нечем. Скорее бы нас перевозили на новое место.

На следующий день я оставил Машу дежурить, а сам отправился на ближнее болото. Не за клюквой, а за растопыркой. Она хорошо помогла мне зимой. Прошли многие боли, а теперь, после курса сеноманской воды, появилась устойчивость. Что это такое, я сам не понимал, просто чувствовал, что устойчиво среднее состояние организма – это всё же гораздо лучше, чем вечное нытьё в простреленных тканях и поломанных костях. До этого у меня одно сердце тянуло нормально. На него Маша и надеялась. Теперь же она не побоялась отпустить меня одного в лес.

И зря. Я заблудился.

Когда отец учил меня плавать, он говорил: «Самое страшное для плывущего – впасть в панику. Гарантия, что утонешь. Не спеши, не суетись, определи, где берег, а где дно...» Ну и тому подобное, очень полезно. И я во все не думал тогда, что вспомню эту водолазную науку – в сухой дремучей тайге.

Впрочем, тайга вовсе не выглядела в тот прекрасный день такой уж дремучей. Я гулял на самом её краешке, по широкой просеке, которая шла параллельно дороге. По дороге ходили мощные грузовики. Светило полуденное солнце. В общем, заблудиться было невозможно.

В просеке стояли высоченные мачты высоковольтной линии, тихо гудели провода, а между мачтами чего только не росло. У толстых пней – россыпи брусники. Среди сваленных трассовиками и давно гниющих

вековых стволов – перезрелая малина, смородина, кислица. А под ногами – подосиновики – хоть коси. Я забыл про болото и косил. Хоть и выбрасывал два гриба из трёх: очень уж черви их любят. Вот из-за червей я и решил немного углубиться в лес: там должны быть моховики, они – почище.

Через час, когда наполнились и корзина, и рюкзак, и даже капюшон моей куртки, я поднял голову и огляделся.

Во все стороны лес был абсолютно одинаковый, а небо затянули тучи. Такие перемены погоды на севере не редкость, и я не растерялся. Хоть и не было с собой компаса. В северном полушарии ветры почти всегда дуют с юго-запада. Впрочем, почти... Значит, по облакам ориентироваться не стоит. Тем более, что я не запомнил, точно ли на север шла просека. Да и вошёл я в лес не по широкой этой просеке, а по узкому геодезическому профилю, метров шести в ширину. Он шёл почти поперёк просеки. Опять почти. С самолёта видно таких профилей множество, и пересекают они территорию в самых разных направлениях. И среди них не только геодезические... Да и чего об этом думать, когда достаточно прислушаться, и по звуку моторов станет ясно, где моя дорога.

Я прислушался. В воздухе стоял только птичий свист да зудел один комар. Почему нет машин? Неужели так далеко ушёл? Я присел на валёжину и несколько минут послушал. Ничего нового.

Да нет, не мог я далеко зайти. Должны быть видны высоковольтные провода. Там и просека, а за ней – моё шоссе. Вон, на часах полдень: все водители просто уехали обедать. Я внимательно вгляделся по очереди во все просветы между деревьями. Проводов не наблюдалось.

Ну и ничего страшного. Сейчас поставлю свою тяжёлую корзину вот на этот высокий пенёк и, не теряя её из виду, сделаю по лесу круг. Либо найду тот профиль, по которому вошёл, либо ещё что-нибудь разгляжу. Я сделал круг и ничего интересного не разглядел. Зато потерял свою корзину.

Ладно, ничего страшного. Грибов полно, а корзину можно скрутить новую. Я решил повторить это упражнение и двинулся по кругу снова, теперь ориентируясь на рюкзак. Он был красный и висел выше моего роста на сломанном дереве.

Когда стало ясно, что и рюкзак не найти, я утешился тем, что рюкзак был тяжёлый. Теперь, налегке, всё становилось проще. Только вот продукты остались на дне рюкзака. Если заблужусь, похудею. Вытряхнул моховики из капюшона и пошёл совсем пустой.

Я бродил так больше часа. Уже всем пора было отобедать и начать ездить по шоссе, но ни одна моя остановка не приносила ниоткуда ни звука, кроме усиливающегося воя ветра. Начинало смеркаться.

Я готов был назвать своё состояние паническим. Но если бы кто-то посмотрел на меня тогда со стороны, он увидел бы спокойно шагающего путника, имеющего совсем не такой вид, какой изображают артисты, «заблудившиеся» в кино. Паника состояла в том, что я начал бояться остановки. Казалось, вот остановлюсь – и упаду, и совсем потеряю ориентировку. Хотя ориентировки с каждым шагом становилось всё меньше. А каждый следующий шаг делался тяжелее. И корни кедров будто сами высовывались из мха, чтобы я спотыкался. А все железные сучья павших ёлок целились пробить сапог.

Надо было остановиться и посидеть, подумать. С большим усилием я заставил себя остановить выбор на первом попавшемся полугнилом стволе и сесть.

Ещё полчаса – и станет совсем темно. Даже если меня тут не съедят, ночь будет плохая: холодная и мокрая. Хорошо хоть, что нож и спички при себе. И вот тут пришла радость: уже не хочу, чтоб меня съели! Меня ждёт женщина, единственная... И так далее. В общем, паника сама по себе, а выбираться давно пора. Зря, что ли, служил в ВДВ? Да и стыдно сибиряку блуждать в родной тайге.

Тут я и услышал далёкий густой гул мотора. Как на заказ. Километрах в двух. Но за полчаса по сухому лесу это вполне преодолимое расстояние. Теперь главное было – на радостях не повредить в буреломе ногу.

Мотор гудел на одном месте. Время от времени его перекрывал истошный металлический визг, будто в сибирскую тайгу забрёл слон и заблудился. Мне так и хотелось откликнуться таким же воплем, потому что я уже понял, куда зовут меня эти звуки.

Я вышел не к шоссе, а к буровой вышке. Под визг затаскиваемых в станок обсадных труб мне сообщили чумазные люди, что вот по этой разбитой дороге до шоссе «всего шесть километров».

В полной темноте явился на склад и услышал от жены то же, что сказал ей вчера: «Больше ни в какой лес не пойдёшь». И добавку: «Завтра». Но стояло полнолуние – лучшее время сбора этой самой растопырки. Через день я дошёл до болота по компасу и нарезал охалку стеблей вместе с корнями. На обратном пути отыскал корзину и рюкзак. Кстати, инженеры из аппаратного цеха сказали, что растопырка имеет более при-

личное название – сабельник. Её стебли и в самом деле загнуты, как сабли. А растопыркою зовут из-за лапчатых листьев и лежачего роста во все стороны.

* * *

Забавно оказалось: мы одинаково боимся друг за друга. Значит, похожи. Такое случается редко. Это надо беречь.

Тоже забавно: употреблять в любви слово «надо». Она, говорят, не дружба, как кошка не собака. «Любовь свободна, мир чаруя...» Не чепуха, но и не истина. Просто одна из правд. А моя правда в том, что слово «надо» для любви вполне подходит. Если жить одной свободой, получится не любовь, а таёжный дикий бурелом. Заблудишься и сломаешь – не ногу, не шею, так судьбу. А у меня судьба и так вся в переломах. Пора и ум употребить. Которого у меня так много. В общем, беречь любовь – надо. И всё тут.

Я пристрастилась ходить в лес. Там хорошо думается. Притом совершенно без вреда для ориентировки. Иван, хоть и местный, в чужом лесу заблудился и больше без компаса не ходит. А я чувствую себя в тайге ещё увереннее, чем в родных горах. Мне вовсе не кажется, что вот таких мест, как это, я встречала уже много, что все кедровые стволы одинаковые, что все заросли кипрея, крапивы или шиповника – похожи друг на друга. Зато мне кажется, что я каким-то чувством, не похожим на обоняние, различаю все запахи, все оттенки форм и цветов. Так, может быть, дирижёр слышит отдельно любой инструмент в самом большом оркестре и может отличить все тонкости исполнения

одной вещи разными оркестрами. Он дирижирует, а сам, может быть, размышляет при этом на любую отвлечённую тему – скажем, о причёске молодой дамы, которую случайно мельком видел вчера на улице...

Мне в лесу легко думается, но мешает одна ужасная мелочь. Если выхожу к какому-нибудь ручью, холодная могилка внутри начинает расти и леденеть. Моё бедное дитя зарыто далеко, на таком же бережку, а в больной воде положится презерватив...

Сначала я научилась издали различать прибрежные растения, чтобы не приближаться к ручьям и речкам. Но потом заставила себя это преодолеть и подолгу смотрела в чистую торфяную воду. Я думала о морях, которые брали такую воду в кругосветки, потому что она не портится в бочках. Я думала о живых быстрых окуньках и ельчиках, которые живут в этой воде. Что они, бедненькие, едят зимой, когда нет паутов, мошек и комаров?.. Не моё слово – «бедненькие». Свирепая горянка – и такое слово... Родилась я такая или смесь культур сделала меня такой? Если да, то почему же время от времени в голове складываются зверские планы диверсий?

Те стеклянные «яички» с гексогеном внутри, которые хранятся на нашем складе, таят грозный кумулятивный эффект. Они под землёй пробивают огненным жгутом обсадную металлическую трубу, бетонную заливку и полметра гранитной породы. Из этих дырочек и стекает в забой нефть, а потом её выкачивают на поверхность. Наш взрывник Гриша рассказывал мне всю эту теорию, а меня так и подмывало спросить: «Детонаторы применяете с гремучей ртутью или с азидом свинца?» Но зачем удивлять чело-

века? Я спросила: «А как же взрыв идёт по этому детонирующему шнуру целых пятнадцать метров и не разрывает его?» Вполне дилетантский вопрос. И Гриша с улыбкой объяснил, что весь шнур взрывается мгновенно, разом, потому он и называется – детонирующий. А от него срабатывают в перфораторах промежуточные детонаторы, вот эти блестящие колпачки. А от них взрываются сами заряды... Я слушала с глупой физиономией, а сама думала: «Обыкновенным пластилином лепить заряд на стенку нефтехранилища, к заряду – детонатор, моток провода... И никакой пластид не нужен... Пять тысяч тонн нефти разом, вах-х-х...» И ужасалась: «О чём думаю?!» И удивлялась, как крепко заквашены мозги шахидской начинкой. И шла на берег ближайшего ручья – думать об этой жуткой особенности подсознания. И додумывалась до нечистой силы, которая соблазняет правоверного на злодейство. Искушает. Подбивает. Толкает, как из поезда на ходу. Ш-ш-шайтан...

Нет-нет, шайтан, не выйдет. Пусть всё человечество впадает в детство, а моё детство кончилось. Я теперь предпочитаю восхищаться богатствами родного русского языка: «Искушает, соблазняет, толкает, подбивает, настраивает, настрополяет, увлекает, завлекает...» А меня – развлекает. Ни в одном языке нет столько синонимов. И ничего интереснее знать не хочу. Не желаю. Не намереваюсь.

* * *

До Нового года мы с Машей совершенно привыкли к вахтовой жизни. И все овощи дома успели собрать

до снега, и грибов, и ягод заготовили довольно. Особенно много засушили рябины: она мощно уродила – к суровой зиме.

Успели и познакомиться со всеми, кто работал на базе. Тут была разница: жить на базе или там работать. Главные наши добытчики, партийцы, на базе только жили. Начальник смены получал по телефону заявку от буровиков или от другой добывающей службы, и партия из пяти человек на двух машинах к точно назначенному времени выезжала на куст. Кустом называется площадка, с которой буровики проникают под землю. Они за несколько месяцев пробуривают полтора десятка скважин, расходящихся, как корни, в разные стороны, и в разрезе это действительно выглядит, как корневая система растения. Только на поверхности растут не стволы и не ветки, а насосные устройства, которые лучше любого дерева сосут из земли чёрную кровушку. Несколько кустов – промысел. Несколько промыслов – месторождение. Несколько месторождений – площадь. Но это для сторожа неважно. Ни кустов, ни партийцев сторож при взрывчатке не видит. Он каждый день видит взрывника Гришу, который получает у него заряды. Он видит механика и моториста из гаража, которые приходят к нему поболтать, а в свободное от болтовни время ремонтируют машины партийцев, не зная ни дня, ни ночи, потому что добыча идёт круглосуточно, дороги у кустов плохие, скважины капризные. Так же круглосуточно работают и аппаратчики. Это высшего класса инженеры, специалисты по чувствительной электронике, аристократы с руками пролетариев. В своём неказистом вагоне они режутся в шахматы, спорят о «золотом сечении» у Врубеля или о музыке, а между делом

ремонтируют начинку погружных приборов. Начинка нежная, со стекляшками, а погружают её с изрядной скоростью на километровые глубины, и там она не только испытывает большие давления и температуры, но и подвергается разным ударам и излучениям. Поэтому заключена эта электроника в тяжёлую цилиндрическую броню. Всё это завинчивается и развинчивается огромными мощными разводными ключами. Притом многократно. Потому что после испытания в цеху может снова отказать, а в скважине откажет ещё вероятнее. Как тут не материться или не спорить о классической музыке и «Золотом сечении»? С Машей они, впрочем, спорили о народных средствах лечения. Они разбирались в чём угодно. На пятерых у аппаратчиков было всего два имени – Володя и Толя. Поэтому себя они звали по фамилиям, а мы их нумеровали: три Володи и два Анатолия. Все они, как на заказ, были несостоявшимися кандидатами технических наук. У всех одна история – не захотели сделать своих начальников соавторами изобретений. Все работали раньше в разных томских институтах и не любили об этом вспоминать: ни денег, ни славы. А на вахте были хоть деньги. И высший комфорт, с точки зрения настоящего работника: возможность спать прямо на рабочем месте.

Главным постоянным жителем базы был начальник смены. Звали его Палыч. Тоже кандидат наук, только экономических. С геологическим уклоном. Он о себе говорил охотно и зло: «Когда мы начинали, это было служение – общему делу, настоящему прогрессу. Мы, наконец, коммунизм строили. А теперь наука не служит народу, а обслуживает его грабителей. Из этого для меня следует, что надо разбегаться». Когда же

аппаратчики подначивали, что, мол, за идею надо бороться, а не разбегаться, он разводил руками: «Я бы рад, да ведь Иван с Машей не дадут карабин!» Он сам себя называл «высокооплачиваемой телефонисткой», а свой образ мыслей именовал «юмором сквозь зубы». Это был настоящий советский человек. Он говорил: «О таких, как я, как раз и мечтали наши первые революционные романтики. Но их поубивали свои же, а мне за них всех приходится нести крест идеализма». Аппаратчики в такой момент мрачно ему кивали. И поправляли: «Не идеализма, а идиотизма». Это были по-настоящему чистые люди, хоть и с вечно грязными руками.

Маша, леди с почти высшим образованием, была среди них почти ровней. А я, сирый, у всех у них с большой охотой учился. Я себя мог чувствовать экспертом только в разговорах о кавказской войне. Но в ней экспертами были все, хоть и не воевали. Поэтому я предпочитал просто молчать. Так и ученье даётся легче, и нервы целее.

* * *

Если бы Иван учился в вузе, он был бы отличником. Я не встречала человека, который так умел бы слушать. Он, как Максим Горький, превратил свою жизнь в сплошные университеты.

Я подружилась с аппаратчиками. Все они были намного старше нас, намного образованнее, но культура из этого не делали. Им важно было внимание и понимание, а для спора хватало и друг друга. Когда кто-то из них уставал от вечных споров в аппаратном цехе, он переходил по диагонали двор и оказывался у нас.

Тут была игра в одни ворота, и человек получал полное удовлетворение при благодарных слушателях.

Например, приходит Толя Первый. Он старше всех по возрасту, работал инженером на Байконуре, видел Королёва и Капицу, переписывался с крупным журналистом, который разрабатывал космическую тему. Толя был мастером во всём, а слабостью имел выщучивание эстетических изысков Толи Второго. Вот он приходит и начинает рассказывать, как Толя Второй ищет всемирную гармонию: «Картинки Эсхера кого угодно доведут до сумасшествия, и его довели. Он расчерчивает картину «Юдифь» по разным пропорциям «золотого сечения», и все линии пересекаются у неё на пупке. Из этого он делает вывод, что всех художников вдохновляет высшая сила, которая подсказывает им, где на картине главное. Я спрашиваю: «При чём же тут пупок?» Он возмущённо отвечает, что там ведь – главная чакра. Я говорю: «Если смешивать в одной посуде восточную культуру и западную, получится обязательно урод, вроде нашего двуглавого орла». Он начинает накаляться и объясняет, что нет культуры восточной или западной, есть Всемирная Гармония – всё с большой буквы. Я говорю: «Ты расчерти своими линиями «Крестный ход в Тульской губернии», они все у тебя сойдутся на юродивом. Это и будет апофеозом человечества?» Он окончательно заводится и кричит, что я тупица и поэтому даже в шахматы никогда у него не выиграю. Садимся за доску, и я выигрываю. Но до мата дело доходит только не в шахматном смысле – он смешивает фигуры, потому что я «играл неправильно». А неправильно играл он, переживал то и дело» ...

Потом к нам приходит Толя Второй, оскорбленно смотрит поверх строгих очков и рассказывает ту же историю, только в свою пользу. И мы опять с серьёзным сочувствием выслушиваем и поддакиваем. И говорим, что всё в мире относительно и что есть высшая правда, до которой человеку никогда не дотянуться, поэтому приходится терпеть чужое непонимание и так далее. То же самое мы говорили Толе Первому. И поэтому они оба наши друзья. Ну и между собой, конечно, тоже.

А потом приходит из гаража моторист Михалыч. Он потерял сына в Чечне. Ему надо поделиться с Иваном своими возмущениями. Иван возмущается вместе с ним. Говорит, что это всё происки внешних врагов великой России. Михалыч добавляет: «И внутренних. Жиды в России давно хотели захватить власть. И вот они её захватили. Теперь стараются захватить весь мир. Но они сломают на этом зубы, как сломали Чингисхан, Македонский, Наполеон и Гитлер. Тогда рухнут Соединённые Штаты, а Россия уцелеет, если только не будет вмешиваться в мировую мясорубку, которую застряли Штаты». Он говорит: «Пусть американцы и мусульмане сожрут друг друга, а мы – восторжествуем. Нам мировое господство не нужно. Нам нужен мир». Мы соглашаемся, и он уходит успокоенный.

Заглядывает к нам и начальник смены Палыч. С ним всюду ходит белый пёс-подросток по имени Боцман. Этого щенка подарил его дочери на троллейбусной остановке какой-то мужик. Разглядел, что девочка сердобольная. Пёс был забитый и запуганный, с проволокой вместо ошейника. Держать его дома не позволили условия, и Палыч увёз зверя на вахту.

Сначала в самолёте, потом в вертолёте щен жался к нему и считал, наверно, богом. Так и осталось. Теперь Палыча легко найти по Боцману: под какой дверью он караулит, там и хозяин. В вагончики у нас собак не пускают: человеческая стая строга.

Палыч – великий человек. Он никогда не кривит душой. Из-за этого бросил науку, из-за этого отказался стать главным экономистом нашей конторы. Он говорит: «Моё место – среди рядовых. Моё призвание – просветительство». Он знаток не только экономики, но и юриспруденции. Конторское начальство часто, наверно, жалеет, что взяло его на работу. Теперь никого не проведёшь и не обсчитаешь. Обиженные сейчас же бегут к Палычу, и он всех выводит на чистую воду. Но его в конторе терпят, потому что четыре раза в год его можно вызвать с вахты в Северный и поручить ему свести концы с концами в экономических отчётах, и он их непременно и безукоризненно сведёт.

С нами, правда, Палыч предпочитает говорить о любви. Он не скрывает, что платонически влюблён в меня, и разговаривает с нами о фильмах и книгах. Если чего-то стоящего не читали, он нам это привозит. И ещё он объясняет, что экономическая теория Карла Маркса совершенно верна, нужно только её понять. Мы соглашаемся, хотя эта теория кажется мне такой же неосуществимой на практике, как тот колокольчик, который гуси в басне хотели повесить на шею лисе.

Вообще эта жизнь вдали от излишков и извращений цивилизации обоим нам идёт на пользу. У обоих выправляются нервы. Меня от благодушия даже подмывает рассказать Ивану всё – и о дуэли между нами, и о братце, и о могилке. Но нет уж, ни за что. Молчу

и буду молчать. Гармония – вещь самая хрупкая на свете. Очень дорого её достичь, очень дорого – сохранить, а разрушить – одним движением, одним словом, одним неверным взглядом. Гармония – это бессонный труд в поте нервов и души. Но она стоит секунд любования результатом.

Это моё рассуждение о гармонии очень понравилось Толе Второму. Он, кстати, разведён, ему сорок два года, и его влюблённость в меня – совсем не платоническая. Он её скрывает. Даже от самого себя. Меня это устраивает. Ни малейшего кокетства ни с кем даже не могу себе представить. Я и с Иваном-то не кокетничаю. Мы с ним – как два калеки в пустыне: можем передвигаться, пока держимся друг за друга. Все остальные – так мне кажется – поодиночке только повалят нас и съедят. Умом понимаю, что это преувеличение, но разум сильнее чувств бывает только у тех, кто на гусеничном ходу. А мы – два костыля.

Я оттаиваю медленно, но всё же заметно. Мне для полного счастья нужно гораздо больше, чем Ивану. Двоедушие куда труднее лечится, чем простреленная плоть. В одном фильме я услышала фразу, которая к моему случаю сильно подходит: «Это касается совести...» А совести многое касается, если ты не на гусеницах.

* * *

Наши мужики рядом с Машей млеют. Это понятно. На вахте все холостые. Даже дамы отвязываются. Это особенно заметно в столовой, когда покупаешь хлеб или крупу. У всех голодные глаза и речи с подтекстом.

А вот моя чеченочка этого просто не умеет. Она всегда настолько проста, что к ней с намёками даже не лезут. И взгляд у неё такой, что в упор на неё никто смотреть не может, отводят глаза сразу. Если бы не был ей мужем, я бы, наверно, её боялся. Но вот не боюсь, хоть и дразню про себя чеченкой.

Она во сне матерится по-чеченски. Правда, ничего другого. Может быть, просто знает несколько слов. Скажем, в институте научилась. Хуже, если была в Чечне. Там не только прибалтки работали против нас снайперами, но и украинки были. А если она чеченка с украинским именем, тогда я должен спросить, как тот царь в сказке: «Ты не засланная к нам?» Но я не хочу – ни подозревать, ни спрашивать. Я могу подозревать её только в настоящей любви ко мне. Или только хочу? А какая разница? И хочу, и могу одно и то же: выжить рядом с ней. Она меня не предавала.

Она следит за моим здоровьем внимательнее, чем я сам. Результаты первого «пропития» настойки из сабельника и сеноман нас обнадёжили. Моя тяга к обезболивающим ослабла, потому что ушла боль. Не совсем ушла, только пригасла. Но могу делать гимнастику, могу уже довольно много ходить. Всё реже смотрю сон про свой последний бой. Маша знает обо мне всё, как положено доктору. Да и мне с ней так легче. Я ни разу никого не предал и предпочитаю лучше быть преданным, чем предать. Знай все мои слабости и предай меня, если можешь. Мне теперь так будет легче. Но Маша говорит правильно: предают не друзья, предают предатели. Я сердцем подстреленным чую, что она не предатель. Имея такую силищу, невозможно быть предателем. Это Танька была слабая. От слабости у неё и нахальство.

От беззащитности – агрессивность. Жалко её. А Маше жалость не нужна. Сильному нужно понимание. Сильному даже смерть лучше предательства. Пусть Таньку жалеют все, об кого она потрётся. А нам это... Мы другой крови.

* * *

Если бы любовь существовала не сама по себе, а за что-то, я любила бы Ивана за доверчивость. Он совершенно ни к кому меня не ревнует. Меня ревновали друг к другу все, с кем я была знакома. Я из-за этого даже поверила в свою красоту. А Иван совершенно спокоен при любых обстоятельствах.

Когда после Нового года медведь покалечил нашего сменщика Алексея, приехал Босой и попросил, чтобы кто-нибудь из нас отработал вторую вахту подряд, с его напарником. Он сказал: «Кто-нибудь», а смотрел, понятно, на Ивана. Не оставлять же молодую жену на две недели в одном помещении с чужим мужчиной. Я испугалась за Иваново здоровье и готова была предложить себя. Но он это увидел и не принял. Сказал: «Конечно, поработаю. А ты присмотри там за Алексеем. Отгони всех девок да подлечи его, как меня». У Босого отпала челюсть и выпучились глаза. Он заикался сильнее обычного: «Ив-в-ван-н-н!.. Я т-тоже хоч-ч-чу т-такую жену! Н-н-но т-таких жён н-не бывает!» «Таких не бывает» – это у него высшая степень похвалы. Сам увёз меня домой на грузовике с берёзовыми дровами, сам эти чурки полдня колот, сам братана своего растирал нашим сабельником и при этом строжайше ему наказывал: ко мне не приставать.

Алексей кряхтел, стонал, говорил: «Вот ещё! На работе командуй». И при этом подмигивал мне. Да так, чтобы брат видел. В общем, было хорошо, по-человечески. Я всё более чувствовала себя сибирячкой.

Спас нашего соседа его могучий пёс. Алексей присел отдохнуть на поваленное дерево и не заметил, что под ним берлога. Медведь выскочил, как на пружине, и сразу его сгрёб. А Мастер в это время в сторонке облаивал белку. Он, может быть, и разбудил зверя. Он же его и отвлёл: прискакал и вцепился сзади. Тут хозяин дотянулся до ружья и пальнул из обоих стволов...

Через две недели Алексей уже сносно двигался, и я спокойно отправилась на вахту, к Ивану. Шутили о нашей разлуке все, кому не лень, даже эстет Толя Второй. Один Иван не обмолвился ни словом. Спросил: «Ну, как он, не сильно?» И всё! Вот это муж. Настоящий джигит. Даже лучше. Он не умеет на коне. И не нужно.

Две вахты подряд муж выдержал вполне достойно, хотя и устал. Даже сделал вывод, что физические перегрузки в его положении полезны: они включают тайные резервы организма. Я сказала, что его наблюдение вполне научно, но тайные резервы лучше не тратить – это грозит истощением и резким сломом. Поэтому, голубчик, изволь теперь отдыхать, а работать за двоих буду я.

Собственно говоря, после тех нагрузок, которые знавали мы оба в совсем недалёком прошлом, нашу вахтовую караульную службу вполне можно называть курортом. Взрывчатка и в самом деле никого здесь не интересуется. Посторонние не подходят. Им просто некогда, все работают руками по 12 часов в день.

А совершить здесь диверсию – себе дороже. Даже если что-нибудь взорвётся, то убежать можно только в тайгу. Там выжить мудрено. А триста километров по дороге – всяко догонят вертолётom. Притом, если брать не нефтехранилище, а наш склад, то здесь без танка нечего делать: броня за колючей проволокой.

Был только один случай мелкой агрессии, да и то насчёт карабина. Когда выпал первый снег, к нам застучал Толя Второй: «Давайте карабин, скорее!» Оказалось, что на крышу гаража сели сразу два глухаря. Огромные, как домашние гуси. И с такими же длинными шеями. Они втягивали и вытягивали эти шеи, крутили головами, всё было забавно. Мы с Иваном засмеялись, птицы обиделись и перелетели на нижний провод высоковольтной линии, уселись прямо над аппаратным цехом. Толя Второй обиделся на нас за карабин, подобрал с земли какую-то палку, подкрался по пустому двору и швырнул ею в глухарей. Не докинул. Птички улетели. Из двери аппаратного цеха за охотой наблюдал Толя Первый. Он ехидно спросил: «Ты что же, хотел нарушить Всемирную Гармонию?» Бедный эстет обиделся и на него. И ушёл в свою немагнитную избушку – ремонтировать инклинометры и слушать классику.

В тайге нарушить Всемирную Гармонию в одиночку нелегко, разве что поджогом. И то не во всякое время. В дождь или зимой лес ведь не загорится. Впрочем, перед самым нашим переездом на новое место лес загорелся именно зимой. Но и то – по вине коллективной деятельности людей.

Сразу после Нового года, в яркий солнечный полдень, вдруг потянуло горелой соляжкой. Так горят нефтепроводы, я помнила это ещё по Кавказу. Мы

вышли во двор. Лес был пронизан белым вонючим туманом. Этот дым уже заполнил низом весь посёлок. Ветра не было, он расплзался сам. Из него торчали высоковольтные мачты, ретранслятор связи, верхушка соседней буровой и проглядывалось огненное пятно факела со столбом чёрного дыма над ним. Змей Горыныч выплёвывал одним горлом чёрные кольца. Казалось, что он смеётся. Он даже реветь стал прерывисто – ху-ху-ху-ху – будто хохотал.

Что-то явно горело в лесу. И это был не «амбар». То просто самодельный водоём рядом с буровой. В него сливают загрязнённую нефтью воду из скважины. После бурения нефтяную плёнку поджигают, и она за час-другой выгорает, образуя над «амбаром» столб чёрного дыма. Теперь же дым был белый, а в нём чувствовался и запах горелой древесины. Будто где-то в лесу работал огромный дизель, в который подбрасывали ещё и дрова.

Мы решили, что горит лес, и надо заботиться о спасении взрывчатки. Позвонили в пожарную часть. Те сказали, что довольны нашей бдительностью, но беспокоиться о взрывчатке не надо. Прорвало промысловый нефтепровод, выброс нефти почему-то загорелся, но там уже работают и скоро потушат.

Во дворе дышать было положительно нечем, все наши попрятались по вагончикам. Наше жилище, оклеенное изнутри черной плёнкой, которой обматывают трубы нефтепроводов, казалось всегда душным. Но теперь оно спасало. Особенно Ивана. Он в этом дыму сразу начал сухо кашлять.

К полуночи ядовитый туман рассосался, но запах стоял до утра. А утром Палыч сообщил всем о причине

пожара. Кто-то из окна машины выбросил летом пустую бутылку. Она упала рядом с нефтепроводом. А когда трубу прорвало, и нефтяное пятно дошло до бутылки, она сработала как линза: подожгла нефть солнечным лучом.

Я ходила на лыжах к тому месту. Снег на двести метров вокруг был оплавлен и усыпан сгоревшими хвоинками. Просека нефтепровода шла теперь через обугленную поляну. Это напоминало глаз, потому что вода на поляне не замерзала, а обгорелые кедры и ёлки торчали по краям, как ресницы. Глаз, наполненный слезами. Никаких бутылок я там не обнаружила. Неужто диверсия? Впрочем, вся деятельность человека на планете Земля – сплошная диверсия. Куда только смотрит Аллах?

Через неделю у нас начался переезд в Лидер, а дымок над пожарищем ещё курился. Это тлел торф. Его толщина здесь несколько метров. Сказали, что будет тлеть до лета, а там может и выпрыгнуть наружу. Так что пожарным без дела не сидеть. Но меня больше тревожили Ивановы лёгкие. Одна из моих пуль сильно их разворотила.

* * *

Я не был в Лидере ни разу. До него 25 километров по бетонке, оттуда все наши томичи летали после вахты домой на грузовом Ан-24, а северчане к себе – вертолётном с Лосинового. Но мы с Машей от земли не отрывались. Только видели в день перевахтовки, как народ на вертолётной площадке штурмует очередной борт. Один чудак, которому не хватило места, даже уце-

пился за шасси и вместе с сумкой поднялся метров на пятнадцать, пока его не опустили. Нам и теперь не нужно было лететь. Зимой все дороги хороши, потому переезд и назначили на январь, чтобы наши бронированные взрывохранилища своими полозьями не покалечили бетон или, не дай бог, не утонули в болоте.

Осенью был случай, когда в просеке увязли обычные тракторные сани. На них везли синие немецкие бочки с дисольваном. Это красивая оранжевая жидкость, которую зачем-то заливают в скважину при бурении. Её основа – метиловый спирт. Все знают, что отравя, поэтому хозяева бросили в просеке и трактор, и сани и ушли за подмогой. А тем временем мимо ехали на ГТТ трассовики. Забросили одну бочку к себе в тягач и на своей базе в лесу с помощью ружейного ствола перегнали этот спирт. И пили всю ночь. И к утру поотдавали богу души. Интересно, что бы они сотворили с нашей взрывчаткой, если бы нашли её вот так в лесу? Начали бы бить стеклянные «яички» и плавить гексоген? А он не плавится, он просто горит. Притом очень бурно. И если не сковырнуть промежуточный детонатор, может сильно бабахнуть. Один из наших взрывников этой зимой сжигал в костре списанные заряды, которые не сработали в скважине. И они у него рванули. А он грелся у этого костра. Большим асом себя чувствовал. Хорошо, что был в ватном метеокостюме: дырки от стекла и медных колпачков получились неглубокие. Но в больнице полежал: один медный колпачок попал в лёгкое. А машина, рядом с которой он развлёкся, так и щеголяла с издырявленной будкой, на потеху всему посёлку. Вредная для природы тварь – человек.

В январе мороз трещал деревьями точно в соответствии с богатым урожаем рябины. К переезду мы подготовились ответственно, и всё прошло штатно. Если не считать пустяковое приключение с замом по быту и сбыту. Так у нас дразнили снабженца Брюханова. Он был бездарным инженером и в партии не удержался: там требуются знания и хорошая реакция. А он, хоть и кандидат в мастера по волейболу, такими качествами в деле не обладал. Но я узнал об этом поздно.

Брюханов приехал к нашему складу вечером и суматошно начал распоряжаться переездом: «Загружайте имущество в «элпээску», она пойдёт впереди и покажет вам дорогу. Один из вас поедет в тракторе. Сегодня перетасим одно хранилище, завтра – остальные». Мы возражали: мол, карабин один, не растянешь охрану трёх хранилищ на 25 километров. Он пробормотал какую-то невнятицу и уехал. Ситуация получалась глупая. Народу на базе почти не оставалось – почти все уже переехали на новое место в Лидере. Тому из нас, кто останется, помощи ждать не от кого. Но и тому, кто поедет с первым контейнером, карабин нужен тоже. Тем более, Брюханов приказал перевозить карабин сразу. На бегу, таская свой скарб в будку «элпээски», мы обсудили проблему. Маша настаивала, чтобы я ехал первым: там, мол, понадобится мужская сила. Когда я сказал, что боюсь оставлять её одну при взрывчатке без оружия, моя чеченочка сказала: «Нэ боись, дарагой. Ехай бэстрэпэтно». Так она всегда намекала на моё военное прошлое. А теперь оскалилась в такой рукопашной улыбке, что я вспомнил бедного шатуна и оставил её охранять остатки склада с одним складным ножом. Только велел запелиться в вагончике и не выходить, даже если растащат

всю взрывчатку: «Помнишь, Босой сказал, что нам важнее всего сохранить?» Она ответила: «Помню, ружжо». И я уехал.

Мы тащили хранилище четырёхсотсильным «кировцем», я держал карабин между колен, водитель на него косился и уважительно помалкивал. Только в одном месте заговорил сам. Мы ехали по замёрзшему болоту. Теперь это было широкое заснеженное поле с редкими чахлыми ёлочками и берёзками. Бетонные плиты были здесь уложены на лежнёвку, но дорога всё же так просела, что свободные концы древесных стволов торчали справа и слева к тёмным небесам. Они задрались выше кабины «кировца», как два рассеявшихся забора. Тракторист простёр перед собой руку и изрёк: «Вздыбленная дорога! Вот так мы тут всю природу вздыбили. И лес, и под землёй всё испоганим – и бросим. Сахара будет после нас!» И добавил такое ругательство, что мне добавить было нечего. А он снова простёр руку, только в сторону: «Видишь вон тот шест, с тряпкой? Там два трактора утонули. Один на другом стоит. Ещё надеются вытащить, ха-ха».

Не доезжая посёлка, мы свернули направо по такому же бетонному шоссе, а ещё через километр съехали с него куда-то вбок и метров через триста оказались перед новым брусовым домом. У дома стояла «элпээска» с потушенными фарами, рядом с ней скучали двое наших партийцев. Мы тут не остановились, а сразу втащили свой строгий груз в загородку из колючей проволоки, отцепили его там и уж потом присоединились к мрачным людям. Они стояли перед висячим замком, в свете звёзд и поселкового зарева. Я спросил, где ключ. Они выругались в адрес Брюханова. Я спросил, где

Брюханов. Они выругались ещё раз. Я попросил у водителя монтировку и сорвал с двери замок вместе с петлями: им тут быть всё равно не полагалось по инструкции, чтоб никто не мог подкрасться и запереть охрану снаружи. В доме оказались высокие потолки и аж четыре помещения. Два из них имели железные печки. В той комнате, которую мы назвали кухней, с потолка свисала лампочка. Тракторист щёлкнул выключателем. Лампочка не загорелась. Мы её выкрутили и проверили с помощью моего фонаря. Всё цело.

– Электричество отключено, – предположил шофёр Володя. – Но неделю назад мы тут были, включалось.

И выругался в адрес организаторов переезда. И предложил начать разгрузку, а то уже восемь вечера. Я сказал: «Нет». Отпустил только тракториста, чтобы выспался перед завтрашними перевозками. Достал из машины топор, растопил какими-то обрезками досок печку на кухне, оставил в доме взрывника Гришу, а сам с шофёром отправился на гружёной машине искать этого зама по быту и сбыту. На базе не было ещё никакого быта, и нам сказали, что зам, наверно, в столовой. Столовых в Лидере оказалось три, а сам посёлок показался мне настоящим городком. Полтора десятка двухэтажных общежитий из бруса, четыре шикарных кирпичных общежития, да не плоских, а квадратом, с внутренними двориками, накрытыми стеклом. К этому великолепию, залитому светом, мы проехали через богатую промзону, где было всё – и гигантские баки нефтехранилищ, и могучая котельная, и станция подготовки нефти, равная небольшому заводу, и множество баз – всё кирпичное, охваченное толстыми трубами теплотрасс.

Ни в одной столовой Брюханова не оказалось, хотя было время ужина. Длинные очереди работяг опасно косились на мой карабин и весьма однообразно шутили насчёт поиска преступников.

Мы вернулись на нашу недостроенную базу, и кто-то из партийцев сказал, что в таком-то каменном общежитии есть такая-то комната, где живёт наше начальство.

Мы нашли такую-то комнату. Она была заперта, но свет сочился и звуки слышались. Я начал стучать, и дверь открыли. За столом, в тепле, сытости и табачном дыму, зам по быту и сбыту играл в карты с нашим Палычем и парой незнакомых. Я зарычал: «Молодой человек...» Он строго перебил: «Вы почему здесь?» Я зарычал: «Это вы почему здесь?! Почему вы, зам начальника экспедиции, не обеспечили перебазировку склада ВМ?» Он спросил строго: «А в чём дело? Почему такой тон? У меня рабочий день окончился, посмотрите на часы». Я сказал: «Во-первых, здесь вахта, во-вторых, вы в командировке, в-третьих, у вас рабочий день не нормирован». Он снова перебил: «Так что вам угодно?» «Мне угодно, чтоб вы поехали со мной на склад. Машина подана». Он сказал: «Я сейчас отдыхаю. Завтра будем разбираться. Что там у вас?» Я сказал: «Палыч, поехали со мной. Я тебе всё покажу. А с этим будем разбираться, когда Босой приедет». Палыч мне кивнул и вопросительно повернулся к заму. Тот полез из-за стола. Его секли при подчинённых, он гневался. Палыч спросил: «Мне тоже ехать?» Я ответил: «Пока не беспокойся».

По пути, преступник пытался выспросить, что же там случилось, но я отвечал: «На месте покажу». Я был хозяином положения и слегка этим кичился. Мне с самого начала не понравился этот парень.

Когда я при водителе и взрывнике отчитал его за отсутствие ключа, дров, воды и электричества, когда Володя уехал за электриком, а Гриша вышел подышать, зам подошёл ко мне вплотную. Он сказал: «Ты что тут устроил?» И схватил меня за грудки. Мы были одного роста. Я взял его за кисть и надавил. Он сморщился и опустился на колени. Я сказал: «А-я-яй. В рабочее время, в караульном помещении, на подчинённого, до зубов вооружённого. Это же статья!» Он встал, отошёл, сел на единственную лавку и сказал: «Ваше счастье, что мы на службе». Я ухмыльнулся: «И ваше. Машину можете разгрузить?»

Он помог. Когда привезли электрика и пока он ходил к «воздушному рубильнику» на каком-то столбе, мы быстро и дружно перетасили всё в дом. Печка уже хорошо нагрела кухню, можно было снять полушубки. В чайнике успела закипеть снеговая вода. Хозяин предложил угоститься с устатку чаем, но гости заспешили на ужин и оставили меня одного. Брюханов строго извинился: «Вас на ужин не приглашаем, склад оставлять нельзя». Это был его реванш за все обиды. Но у меня была с собой крупа и кастрюля, я не огорчился. А к обеду следующего дня поспела хозяйка, и моя каша ей понравилась.

* * *

Иван очень смешно рассказывал, как с карабином искал по посёлку начальство и как его конвоировал на склад. Но я уже знала всю эту историю в более красочном виде, в изложении шофёра Володи. Он даже наврал, что Иван привёл Брюханова со связанными

руками, толкая его стволом карабина. В конце заверил, что мне очень повезло с мужем: «С таким парнем не пропадёшь».

Ну, мне-то было важно, чтобы сам парень не пропал. Я спросила, как тут дышится. Иван даже засмеялся, как смеются малыши, когда им хорошо: «Да как тут может дышаться?! Ты посмотри, какие потолки – еле достаю! Посмотри, какие окна! Решётки бы с них поубирать, да?»

Конечно, здесь всё было комфортнее, чем на временном складе. И сам склад назывался иначе – раздаточный. Загородка из колючей проволоки охватывала целый гектар. Внутри стояли три броневых амбара на сто тонн взрывчатки. Рядом со складом был вырыт водоём, размерами с плавательный бассейн. Лес кругом стоял чистый, не горелый. И простирался этот лес во все стороны до бесконечности. Хоть и скупала я немного по горам, но они всё же теснят человека, а вот лес на равнине – это настоящий простор.

Первое неудобство через неделю привёз нам Босой. Осмотрелся в доме и вокруг, похвалил, как обжились, а потом сообщил, что теперь, на складе более высокого ранга, и требования повыше. Во-первых, будет побольше народу: не двое в смене, а четверо. Это проблема номер один. А во-вторых, медицинскую комиссию нам придётся пройти ещё раз, в самом Томске. Тут на одном из складов в окрестностях Северного работала бабулька. Она привезла на дежурство пятилетнего внучонка и дала ему поиграть револьвером. Он её застрелил. А на другом складе целый год работал шизофреник. И никто этого не знал, пока он не устроил драку в караулке. Его в милицию, а он им – справку

из психодиспансера. Так вот теперь через этот диспансер придётся проходить всем. Ежегодно. И ещё через один – наркологический. На всякий случай.

Это первое неудобство показалось небольшим. Подумаешь, работать вчетвером. В доме две отдельные комнаты отдыха, поместимся. Подумаешь, слетать в Томск на медкомиссию. Иван уже достаточно восстановился, не забракуют. Он уже много ходит, и вся утренняя гимнастика у него получается в полном объёме, и дышит получше многих нераненных, потому что не пьёт и не курит. Трудно было справиться с тягой к наркотическим лекарствам. Но когда мы выгнали из его тела сильную боль, удалось справиться и с этим. Я вообще давно знала, как врач, что лучшее лекарство для молодого тела – это ещё одно молодое тело, только другого пола. У нас в институте терапию преподавал настоящий профессор, с огромной практикой. Рассказывал хрестоматийное о продлении жизни дряхлым старикам с помощью обкладывания их юными красотками. И о том, как медсёстры ложились к умирающим солдатам: «И костлявая уходила, – так он говорил. – Не тягаться скелету с живой горячей плотью». Талантливо рассказывал. И обязательно добавлял, что лучший катализатор при лечении горячей плотью – это искренняя любовь. Вот этим я, полагаю, Ивана с того света и вытащила. Да и сама спаслась. Холод внутри изрядно подтаял. Если увижу того профессора, обязательно поделюсь самонаблюдением.

Когда будем работать вчетвером, это будет в режиме «сутки через сутки». Возможностей для горячего лечения станет даже больше. Всё-таки во время дежурства заниматься любовью приходится

с оглядкой: не едет ли на склад Гриша. Даже глубокой ночью было однажды: за двадцать секунд, что машина ползла триста метров от шоссе до шлагбаума, Ивану пришлось успеть выскочить из меня, с нуля одеться по-зимнему и степенно выйти во двор с карабином. Через полчаса, конечно, посмеялись и доlechились, но тогда оба рычали... А на свободе да за толстой брусовой стеной – лечись хоть всю ночь и весь день, только не стони слишком громко, чтобы не возбуждать зависть сменщиков.

До мая, пока не завезли большое количество взрывчатки, мы работали в прежнем режиме, вдвоём. И заряды выдавали из тех же малых хранилищ, которые притащили с временного склада. Чуть прибавилось хлопот с открыванием и закрыванием всяческих замков: до них, по сравнению с Лосиным, было подальше ходить, и на шлагбауме теперь тоже был замок. Но всё равно на один визит уходило не больше получаса. Охранник только открывал замки на шлагбауме и на воротах, а потом делал запись в постовом журнале, расписывался на пропуске и с журналом под мышкой и карабином на плече ждал у ворот Гришу. Тот вместе с шофёром в это время загружал в «элпээску» ящик с зарядами и моток детонирующего шнура, совал за пазуху коробочку с детонаторами, и машина трогалась. У ворот они тормозили, Гриша ставил автограф в журнале и уезжал. Оставалось повесить оба замка на место и посмотреть на часы. Бывало, что управлялись всего за десять минут. И больше в тот день никого ждать не приходилось, потому что подземные взрывные работы производятся на дальних кустах и отнимают порой целые сутки.

Чем заниматься охране, когда она не выдаёт заряды? Как говаривал наш факультетский балагур Мишка, «это же с тоски можно подохнуть». Но на такие лесные склады специально подбирали людей, не боящихся одиночества. Босой навещал нас по два раза в месяц и делал запись в постовой ведомости: «Проверено несение караульной службы, замечаний нет». Ему нравилось с нами поболтать. Хотя, конечно, это была не простая болтовня. Божьей милостью организатор, он умел так со всеми болтать, что и обо всех настроениях был всегда осведомлён, и нужные наставления раздавал ненавязчиво. С нами он это делал так, будто завидовал нашей молодой любви и делился кадровыми проблемами. А когда уезжал, мы устраивали анализ беседы и обнаруживали, что и о себе всё ему рассказали, и инструктаж получили. Летом, конечно, мы собирались завести за складом огород. Это даже улучшало бы охрану. А пока снег, Иван вырезал из дерева досочки для кухни и разные фигурки, а я попробовала рисовать. Когда-то на тренировках по разведделу неплохо воспроизводила карандашом по памяти лица или расположение объектов. Теперь начала рисовать всё и всех подряд: Босого, Гришу, аппаратчиков, партийцев, инспектора из гостехинспекции, рабочих, которые доделывали новые хранилища, пейзажи вокруг склада, дома в Лидере, даже бродячую собаку, которая забежала как-то к нам на склад и прижилась, и получила имя Босьяк. Портреты раздаривала, пейзажи лепила на стены. Иван хвалил всё подряд, сравнивал с Серовым, Перовым и даже с Леонардо. Он с детства это любил и сам прилично рисовал. А когда рисунки посмотрел Босой, реакция оказалась неожиданной. Художница

привычно ожидала восхищения, а он вдруг насупился и пробормотал: «Слишком похоже рисуешь. Режимный объект. Ты это спрячь и никому не показывай, а то мне приле-летит. Рисуй что угодно, только чтобы объекты не было видно». Мы удивились: всего два раза заикнулся. Он это заметил и гладко спросил: «Заметили, что почти не заикаюсь? Тренируюсь по системе. А по какой – не скажу, вам не надо».

К маю четверых новых охранников Босой нашёл. Мы, конечно, надеялись, что он составит из них одну смену, а нас объединит со своим братаном Алёшкой и его напарником, симпатичным стариком Ефимычем, тоже матёрым таёжником. Во время пересменок мы несколько раз ночевали с ними в одном помещении и сдружились. Но для Босого интересы производства оказались выше нашей дружбы. Он объединил нас с новыми охранниками по двое: «Чтобы-бы они лучше вошли в процесс». Он заикался теперь всё реже и по-другому: сдваивал слоги.

* * *

За зиму я обошёл на лыжах почти все окрестности склада. В одном месте нашёл следы какого-то идиота-охотника. Он пригнул к земле несколько молодых берёзок, привязал к этим дугам пучки рябиновых ягод, а рядом поставил петельки из нихрома – по три-четыре на ствол. Всего одна белка попалась, да и ту он не вынул. Я нашёл от неё в петле только скелетик с целым хвостом. Рассказал сменщикам. Они обещали его изловить. Но не изловили. Может быть, перестал летать на вахту. А скорее – один из строителей нашего склада. Работу

закончили и пошли дальше, а петли он не снял. В тот раз я разогнул все деревца и собрал с них сорок три петли. Находил и петли на зайцев, тоже снимал. Мне хотелось, чтобы вокруг склада была настоящая дикая жизнь. Настолько хотелось, что даже приснился сон, притом противоположного содержания. Будто вижу из окна волка. Зверь поджарый, светлый, длинноногий, трусит по дороге к шлагбауму и садится прямо под ним. Я забываю себя и выбегаю с карабином. Волк тут же бросается бежать. Я стреляю вслед, но только задеваю пулей бок. Он шарахается в сторону и бежит ещё быстрее. И убегает. Возвращаюсь в дом. Мрачная Маша говорит: «Зачем стрелял, абрек? Маракунэм...» И я проснулся. И рассказал Маше этот сон. Она посмотрела тяжёлым взглядом и сказала: «Зря не убил. Ты же снайпер. Волков надо уничтожить всех». Я не согласился: «Нельзя. Нарушится экология». Она объяснила: «Не нарушится. Их экологическую нишу уже заняли люди. Волки – лишние». Говорила как-то зло и горько. Но сразу засмеялась и сказала, что задремала на посту и ей приснилась странная фраза, про того же зверя: «Светлыми глазами можно смотреть на волка. Но не на крысу». И спросила: «Как ты этот бред объяснишь?» Я объяснил так, что и сам удивился, будто не я говорил, а говорили мною: «Это о светлом взгляде речь. Волк нам ровня, а крыса – нет. Лучше бы мы её вытеснили из ниши». Она погладила меня по голове и быстро вышла во двор: «Подышу». У неё есть тайна, которую не открыть. Да и не надо. Я этой тайны почему-то боюсь.

В первых числах мая снег сошёл почти весь. Остались только зернистые пятна в лесу, у толстых деревьев. В один из этих дней я вошёл в лес рядом с завалом из

брёвен, где зимой не ходил. И почти у самой опушки нашёл заочневшего зайца. Он попал в петлю разноименными лапами – передней правой и задней левой. Умирал мучительно, бился, сорвал кожу до костей. Теперь лежал, стянутый нихромом, на снежной подушке, а кругом уже лезла травка. Я принёс его Маше. Она понюхала и сказала: «Съедем. Пища дикарей». И хорошо сготовила. И мы съели бедного зайца по-братски. Больше я прошлогдних петель не находил. А наши сменщики их не ставили.

* * *

Мелкое неудобство с медкомиссией обернулось для меня изрядной тревогой.

К концу майской вахты Босой привёз второй карабин и новых сменщиков, которые должны были работать с Алексеем и Ефимычем. Где-то в Северном существовали и два охранника, с которыми работать нам. Все они уже прошли медкомиссию по всем правилам. А нам Босой выдал заявки на бесплатный полёт, и мы отправились. Сначала вертолётном в Северный, а оттуда самолётном в Томск. Там надо было переночевать в гостинице, пройти все кабинеты, указанные в бланках, вернуться в Северный, сдать эти бланки в контору и тогда уж ехать домой на отдых. Иван сказал: «На остаток отдыха».

На вертолётах я никогда не летала. Мне приходилось только по ним стрелять. Правда, без успеха: бронированные попадались. И сами лупили так, что толком не прицелишься. Летела я поэтому без удовольствия и даже с некоторым глупым трепетом:

не целится ли кто снизу. Потом в аэропорту спросила Ивана: «Ты летал раньше на вертолётё?» Он кивнул. И спросил: «А ты – нет?» «Первый раз». «Ну и как?» «Страшно. А ты не боишься?» «Здесь – нет. А раньше боялся. Противно, когда тебя сбивают». «А тебя сбивали?» «Нет. Моих друзей однажды сбили». «Они погибли?» «Не все». Он мало говорит, особенно о войне.

В Томске мы легко прошли медосмотр в поликлинике. Врачи умилялись: вот супруги-вахтовики, такая пара... И жалели Ивана за его шрамы. В наркологическом диспансере вышло смешно. Там просмотрели картотеку, не обнаружили нашей фамилии и сказали: «Микулины! Заплатите в кассу вот столько, и мы вам поставим штампик». Я спросила: «А если бы мы были у вас на учёте, тогда – бесплатно?» Ответили без улыбки: «Тогда – бесплатно». Хорошо, что не стала врачом. Я бы не смогла участвовать в вымогательстве. Хоть и понимаю, что они в этом не виноваты. Как говорил Мишка-еврейчик, «рынок-с без границ, опоздавшему – дыру от бубла-с».

Самое интересное произошло в психодиспансере. Тоже пришлось заплатить в регистратуре за то, что мы не психи, а потом ещё сидеть в очереди у кабинета на втором этаже и по одному заходить к врачу, чтобы задал пару дурацких вопросов для анамнеза и поставил печать. Иван сходил первым, показал большой палец и сел. Вошла я. И застряла у двери, будто меня ею прищемило. За столом сидел мой однокурсник Мишка-еврейчик. Теперь он, конечно, был Михаил Ефимович Флейшнер. Я помнила отчества всех, с кем училась в одной группе.

Мы целых три секунды друг в друга всматривались, а когда Мишка меня узнал, он отпал на спинку стула и сказал молоденькой медсестре: «Посмотри в регистратуре, нет ли у них кипятку. Я тут сам оформлю». Девочка вышла. Я подошла.

Он спросил:

– Я правильно сделал?

– Правильно. Здравствуй, Миша.

Надо было или убедительно врать или говорить правду. На выбор у меня не было времени. Я села молча и положила перед ним свой бланк. Он вчитался.

– Микулина... Сейчас заходил... Кто он тебе?

Мне нужно было время. Я ответила:

– Догадайся с одного раза.

Он помолчал, поразглядывал меня. Я в это время почему-то вспомнила, что за его мясную фамилию ему все в шутку пророчили карьеру хирурга. А он вот стал психиатром. И, стало быть, преуспел в психологии. Значит, делает выводы и вычисляет мою жизнь. Он, наконец, сказал:

– Чеченка вышла за русского. Притом в Сибири...

– Ты сам-то как в Сибирь попал?

Я всё тянула время. Но уже надо было что-то решать. Сейчас вернётся с первого этажа эта девочка с кипятком, она помешает. Мишка сказал:

– Мало времени. Давай так: мы знакомы?

Вот это он взял быка за рога! Я мотнула головой. И сказала:

– Я скрываюсь. Но на мне ничего нет. Не хочу политики – и всё. И брак – не фиктивный.

– По страстной любви?

Я кивнула. И заметила в его глазах короткую усмешку недоверия. У меня по психологии тоже были успехи в институте. Я сказала:

– Миша, ты ни-че-го обо мне не знаешь. Пришла и ушла. Подробности когда-нибудь потом. Поверь пока на слово.

– Жаль, что ты не доучилась. Лучше бы тогда вернулась на занятия. А то там связали это с тем боем, с погибшей ротой...

Не знаю, удалось ли мне сохранить на лице нейтральное выражение. Очень уж точно он попал. Я сказала:

– Не знаю никакой роты и никакого боя. Не до того было. Я встретила этого парня на улице, сразу влюбились, и он меня увёз.

Мишка ухмыльнулся уже открыто:

– От кого же ты скрываешься?

Поймал. Ну, делать нечего. Я сказала:

– От цивилизации. Надоела суета. Художницей решила стать. Смотри.

И сделала вторую ошибку. Схватила со стола чистый лист, выхватила у Мишки авторучку и за несколько секунд набросала его портрет. Он его взял, взгляделся.

– Профессионально. Муж – тоже художник?

Я кивнула. Тут вошла медсестра с чайником. Мишка сказал казённым тоном:

– Охранять взрывматериалы вам разрешается. Без ограничений. Особенно с таким мужем.

Улыбнулся, расписался, хлопнул печатью и отпустил. Портретик стала разглядывать медсестра. Взяла в руки. Зацокала языком.

Я вышла к Ивану и увидела рядом с ним на стульях пару кавказцев в кожаных куртках. Они тут же встали и поздоровались со мной по-чеченски. Я привычно переспросила: «Шо-о?» Они ухмыльнулись и ушли в кабинет. Я увлекла Ивана прочь из этого чёртова диспансера. По дороге спросила:

– О чём с ними говорил?

– Ни о чём. Они только что подошли, спросили: «Кто последний?» Я сказал: «Вы». Тут ты и вышла. А что? Они с тобой по-чеченски поздоровались.

– Так ты и сам меня чеченочкой дразнишь.

– Откуда ты знаешь?

– Во сне проговорился. Я о тебе всё знаю!

Перевела всё в шутку, но встревожилась. Что-то было неладно и нескладно в этой двойной встрече. Сейчас они вошли к Мишке, увидели его портретик. А вдруг имеют сведения, что я рисую?.. Да нет, это уже мания преследования. С ума так можно съехать. Прочь из этого города!.. Но как они со мной поздоровались! Значит, знают моё лицо? Но и в прошлом году так здоровались, только другие. Это всё же у меня паранойя. Не надо было становиться врачом. Не надо было лезть в интеллигенты, не было бы самокопания этого... Давно бы предстала перед престолом Аллаха, который, таки ж, акбар... Не сдаст меня им Мишка. Иудей с мусульманами дружить не может... Паранойя!.. Всё в этом свихнувшемся мире – паранойя! И не мир это вовсе, а непрерывная война. Всех со всеми. Мы все – солдатики, которыми играют наши боги. У которых явная вялотекущая шизофрения с бурными кризами. Иху мать... Кстати, а кто же иха мать?

Ладно о матери. Я вспомнила, что Мишка может знать, что меня увёз из Ростова не Иван. Он видел меня с Асланом в тот последний день, когда я исчезла из института. Запросто мог связать. Так что главное – понять его дальнейшие действия. Обыкновенный он еврей или сионист? Последнее для меня, наверно, выгоднее. Впрочем, я в сионизме мало что понимаю. Он порой парадоксален... Так с кем же Мишка? Почему он в Томске? Может, у него тут родня? Не слышала от него ничего о Сибири. Он тут не по заданию? Да нет, это у меня всё же паранойя. Женщина-солдат. Оглушена «градом» в последнем бою. Или страхом за такую хорошую, спокойную жизнь, что подарил Иван...

Пока я так рефлексировала, Иван задал вопрос и теперь его повторял:

– Давай, давай, признавайся. Что тебя так беспокоит? И чего ты тащишь меня этими закоулками?

Я отключила рефлексю и посмотрела на него. Постаралась придать лицу осмысленное выражение. Часто параноикам это удаётся. Я даже попыталась хитро засмеяться. Я сказала:

– Давай подойдём вон к той часовне. Там, говорят, жил царь Александр Первый, под видом старца Фёдора. Чудеса творил.

– А зачем тебе чудеса?

– Я люблю чудеса. Вот ты – моё чудо.

– Не увиливай, Маруся. Я же вижу: ты не в себе. Что такое? Эти чеченцы?

Хорошая подсказка, нужно воспользоваться.

– Это не первый раз. Когда только приехала в Томск, со мной несколько раз вот так здоровались. И заговорить по-своему пытались. Я испугалась и уехала к тебе.

– А ты в самом деле по-ихнему не понимаешь?

И посмотрел мельком, но внимательно. Тоже ведь разведчик.

– Нет, конечно. Где Краснодар, а где Чечня.

– Рядом, между прочим. И во сне ты говорила почеченски.

Вот это он врёт. Ловит меня моим же приёмом. Я точно знаю, что не говорю во сне. Я этому училась. И я засмеялась.

– Не ври, Ванечка. Ты не умеешь.

– А ты – умеешь?

Он говорил уже горько, почти обиженно. Он, конечно, хотел знать обо мне всё, чтобы защитить – ни для чего другого. Но он сам ещё нуждался в защите. Я пока не могла сказать ему всего. И никогда не смогу, если уж до конца быть честной... Вот как интересно: честность перед собой состоит в том, чтобы врать любимому человеку. Если скажу ему всё, мы оба можем всё потерять. Нет, Ванечка, ни за что.

– Я тоже врать не умею. Ты же видишь! Я просто боюсь этих кавказцев. Они же воруют девушек. И делают из них шахидок. Наркотиками. Помнишь, передавали?

Я включилась в роль и говорила уже вполне убедительно. А сама всё тащила его налево, потом направо, в гору, в переулок, вокруг часовни, потом в какой-то узенький проход между заборами и вниз, к речке Ушайке, и снова налево, потом направо, через мостик, потом в сторону, снова в переулок, ещё на гору, к православному храму с зеркальцами на концах крестов, потом дальше, к Белому озеру.

И болтала, щебетала, восхищалась городом. И в самом деле, у меня уже не было к этому городу

неприятни: в нём такие переулки, так легко скрыться от возможного преследования.

У Белого озера я последний раз незаметно проверилась и поверила, что за нами никто не идёт. Пора было подумать, каким способом выбраться из Томска. Можно лететь по заявке самолётом. Это бесплатно, но завтра. А можно попробовать за деньги автобусом. Это долго, муторно, холодно, но, может быть, сегодня. Эти двое могут, впрочем, появиться и в аэропорту, и на автовокзале. Где вероятнее? Если выслеживать нас, то скорее в порту. Если добираться до Северного самим, то на автовокзале – там не спрашивают паспорта, а им лишний раз светиться ни к чему. Их вожди обещали русским террор по всей стране, и с них, сволочей, станется. Можно пожить день-другой в Томске, чтобы нас не нашли на вокзалах и сняли слежку, но тогда возрастает вероятность случайной встречи в городе, как сегодня...

Тут я опять подумала, что это же просто мания преследования. И пожаловалась на усталость, и попросилась обратно в гостиницу, будто это не сама я таскала Ивана по городу и восхищалась его старинностью.

Кажется, Ивановы подозрения рассеялись. Он больше не задавал опасных вопросов по пути и не замечал мер предосторожности, которые я ненавязчиво принимала в гостинице: продукты и чайник с собой в номер, никуда больше не выходить, дверь запереть, окно зашторить и тому подобное.

Ночью супруг был особо нежен и сообщил, что пора бы нам подумать о продолжении рода Микулиных. Я ответила, что конечно, только пусть он ещё немного окрепнет: нам нужно генетически крепкое пополнение.

Утром мы очень рано уехали в аэропорт и вполне прилично долетели до Северного.

* * *

В любимом человеке всё снаружи. Даже если он уверен, что грамотно замаскировался. Конечно, я хорошо видел, как Маша встревожилась, и когда именно это началось. Она такая вышла ещё из кабинета. Потом эти двое – они её тревогу усилили. И не прошла эта тревога до тех пор, пока мы не сдали свои бумажки в контору и не уехали из Северного домой. Только в Пасоле она расслабилась. Потщила меня сразу в лес, «на наше место». Мы там бывали часто, потому что после каждой вахты гуляли по лесу. Но никогда там не останавливались. Просто проходили рядом. Маша любила ходить подальше и открывать новые места. Если было не холодно, останавливалась и рисовала какое-нибудь дерево, куст или общий вид. И удивлялась, как это можно видеть все деревья одинаковыми. Они и в самом деле получались у неё разные: грустные или улыбающиеся или беспечные. В жизни они такими не выглядели, а у неё – получались. Хорошие врачи, по-моему, всегда одарены художественно. Вон сколько среди них писателей. А хирурги почти все хорошо рисуют.

Мы вполне прилично зарабатывали на вахте, поэтому могли не думать о дополнительном труде между вахтами. Это важно, потому что иначе мы стали бы конкурентами другим жителям посёлка. А им самим негде было работать. Леспромхоз дышал на ладан, пилорама давно закрылась. Другого производства не было. Мужики ездили на заработки кто куда, в том числе и на

вахту – к нефтяникам или строить дороги. Для женщин работы не было совсем. Молодые разъезжались, пожилые вели домашнее хозяйство и нянчили детей. Дети росли, как трава. В школе не хватало учителей, потому что учеников было слишком мало. В общем, Пасол угасал. Когда-то, во времена репрессий, сюда привезли высланных и бросили выживать. Они выжили, хотя и меньшинством. Но тогда была другая власть. Она, как всякая, называла себя народной. Она была суровой. Но равнодушной всё же не была. Или карала, или помогала, чем умела. Отделяла от государства церковь, но не отделяла школу и медицину. А новая, ещё более народная, оказалась совсем безразличной. Сама себя отделила от народа. Заботилась только о сборе налогов, чтобы самой жить не хило. А к людям рядовым проявляла полное равнодушие. И называла это полной свободой предпринимательства. Предпринимай что хочешь, только плати налоги и не попадайся на грехах. А не можешь ничего предпринять, ты свободен подохнуть с голоду. Власть получилась не народная, а как бы природная. Естественный отбор. Если бы не сосед Алёшка, мы бы с Машей до очередной весны могли не дожить. Разве что стали бы знахарями. Она – врач, а меня родители научили разбираться в травах. Пользовали бы односельчан. Но это – только за харчи. Настоящему знахарю деньги с больных брать не положено: дар можно потерять.

Мы насчёт знахарства даже проявили предусмотрительность: всё прошлое лето собирали травы – и дома, и на вахте. И кое-кого из селян вылечили. Приобрели некоторый авторитет и отбили клиентуру у местной фельдшерицы. Алёшка распустил по селу слух,

что моя Маша – настоящий врач, только без диплома. Фельдшерица напустила на нас налоговую инспекцию: мол, врачуем за деньги. Но те ничего не нарыли и отступились. Когда ходили по дворам, народ их просто называл в глаза дармоедами, рэкетирами и даже продотрядом. А фельдшерице кто-то пообещал подпалить хату. И она примолкла. Обычные, нормальные деревенские отношения. И жить не скучно. Маше, конечно, делали за лечение мелкие подарки. Кто посудину, кто платок, а кто масла, творогу или молока. Молочное она принимала охотно, потому что и сама любила, и для меня. А от вещей отказываться сами люди не позволяли: это обида. В общем, она замечательно вписалась в нашу жизнь, будто сама выросла в деревне. Да мне так иногда и казалось. Больно уж ловка была по хозяйству. Я даже спрашивал: «Ты ведь деревенская?» Она отвечала: «Не помню».

Я после таких ответов задумывался: каково было бы мне – не помнить своего прошлого? И ответу удивлялся: было бы лучше. Зачем мне такое прошлое?

Кстати, я даже научился одному фокусу: забыть о прошлом, когда возвращается боль от ранений. Я думал: «Что это за боль? Откуда она взялась? Поел чего-то не того. Не сделал утреннюю разминку, а потом сделал резкое движение. Не выспался». И так далее. Если старую болезнь представлять как новорождённую и случайную, она удивляется и как-то вянет. Рассказал об этом Маше. Она сильно смеялась, а потом сказала, что это новое изобретение в медицине, его надо применять. И стала применять. И людям понравилось. А она им сказала, что это придумал ещё покойный Гиппократ. Вечно живой...

Рассказал я Маше и об отделении власти от народа. Тут она не смеялась. Мрачно сказала, что так и есть. Нас ведут к полному одичанию и людоедству. Зверски при этом оскалилась и сказала: «Человечина – вот настоящая пища дикарей! Только дикари сейчас сидят по кабинетам. А мы для них убиваем друг друга!»

Мне показалось, она что-то вспомнила. Я спросил. Она ответила: «Нет. Я просто так фигурально выражаюсь. Крайне не люблю людоедов».

* * *

Всё лето мы пахали. В мае после Томска успели в два штыка вскопать дома огород. Посадили картошку и всё прочее. В июне разработали совершенно дикий участок за складом. Там когда-то прошёл пожар, из грунта выворачивались головёшки, обрывки троса, гусеничные траки и прочие приметы цивилизации. Зато и сам грунт был несколько приличнее, чем в других местах. Хоть и тонкий плодородный слой, всего на штык, а дальше глина, зато серая лесная почва удобрена горелым. Там мы тоже посадили немного картошки и зелени. И, конечно, топинамбур. И выкопали погреб. Иван сказал: «На века окопались».

Наши сменщики землёй не занимались. Они поселились во второй свободной комнате, где был отдельный вход со двора, и всё своё время проводили у телевизора, который привезли с собой. Они его не выключали никогда. Это мешало ночами, приходилось просить их убавить звук. Они без спора убавляли. Но на следующую ночь всё повторялось. Общих интересов

у нас с ними не нашлось. Иван назвал наши отношения нейтралитетом. Мы не заходили в их комнату, они – в нашу. Только в караулке, принимая смену, кто-нибудь из них говорил об очередной моей картинке: «Ухты». Дежурно, без выражения. Я даже не научилась отличать, кто из них Николай, а кто – Михаил. От обоих постоянно и одинаково несло какой-то сивухой. Мы подозревали, что они в своей комнате держат брагу. Купить алкоголь в Лидере было очень затруднительно из-за «сухого закона», но можно было насобирать вокруг склада дикой жимолости или брусники, добавить рис и сахар – вот и сырьё для браги. Иван тоже испытывал отвращение к сивушному духу. Мы жаловались на эту вонь друг другу, но мужики служили исправно, и сор из избы выносить не хотелось. А зря. К зиме дождалась катастрофы. Двор от снега чистил маленький колёсный бульдозер. Охранники поднесли трактору своей браги, и он на обратном пути врезался на трассе в трейлер. Погиб на месте. Алкашей уволили, а нам сделали замечание за потерю бдительности.

Босой оказался не очень хорошим кадровиком. Вторая пара наших сменщиков тоже проработала недолго. Это были пожилые муж и жена. Босой представил их победно: «Вот вам вторая семейная пара! Будет идеальная смена!» Но вторая пара очень скоро начала ссориться. Маленькая колченогая Гуля стала ревновать своего старика Васю ко мне. Сцены она устраивала бурные, несла свои выдумки в посёлок, нам на базе их передавали – атмосфера накалялась. Гуля начала выпивать от злости, а Вася – с досады. Пили супруги порознь. Только Вася себя не терял, а Гуля однажды пропала на два дня. Когда она явилась принимать смену, оказалось,

что этих двух дней она вообще не помнит: «Я же вчера вечером ушла». Помня давешнюю катастрофу, не решаясь доверить Гуле боевое оружие, мы написали докладную. Гулю уволили. Следом за ней ушёл и Вася. Мы на два месяца остались одни. Милиция и горнотехническая инспекция пока смотрели на этот факт сквозь пальцы: лучше двое надёжных, чем такая пьянь.

* * *

Нам не повезло со сменщиками два раза подряд. Они плохо переносили оторванность от масс. Когда уволили вторую пару, нас надолго оставили одних. Это была благодать. Ни громкого телевизора, ни пьяных скандалов. Новый год мы встретили на вахте как раз в день приезда. Нам всю ночь звонили с базы: то поздравить, то посочувствовать нашему одиночеству. Мы сочувствие принимали, но про себя смеялись: подольше бы это одиночество длилось.

Маша рисовала уже акварелью. Хоть эта техника и тоньше, зато с ней и хлопот меньше. От масляных красок больше грязи, они тяжёлые, требуют холста или картона. А тут – коробочка, кисточка, лист ватмана и стакан воды. Акварелью Маша особенно хорошо рисовала горы. Она никогда их живьём не видела (какие в Краснодаре горы?), но получалось так похоже, будто она там выросла. Правда, и река, и море у неё тоже получались так, будто она – русалка. Я перестал дразнить её чеченочкой и стал называть русалочкой. Ей понравилось. Она нарисовала себя в виде русалочки, а меня – моряком в тельняшке. Я похвалил, но картинка мне не понравилась. Когда смотрел на тельняшку, мерещились

на ней дырки от пуль и пятна крови. Может быть, зря воздушных десантников стали одевать в морское? Впрочем, тельняшка удобна и красива, её все любят.

После январской вахты, на пересменке, Алексей сказал, что нас в Пасоле ждут какие-то двое кавказцев. Заявили, что хотят вернуть долг. У него был ключ от нашего дома – так, на всякий случай, обменялись запасными. Маша сразу спросила: «Ты впустил их в наш дом?» Он ответил: «Нет, конечно. Вот он, ваш ключ. Я им предоставил свои апартаменты. Приедете – нанесёте визит. Друзья моих друзей – мои друзья, но насчёт хаты – дело другое. Верно?» Маша сказала: «Верно». Без всякого выражения. Я уже знал, что это означает: моя супруга напряжена. Алексей спросил: «Это где же они вам задолжали? В Томске?» Она сказала: «В Томске. И что же, они специально из-за этого приехали?» Он сказал: «Выходит, так. Ничего с собой вроде не привезли. Значит, других дел нет. Они мне сказали, что мимо ехали. Отдадим долг и – дальше». «А на чём они приехали?» «На попутной машине». Маша сказала: «Ну и ладно». И больше об этом не говорила. А я вообще не сказал ни слова. Я был весь в подозрениях. Они сидели во мне давно, а теперь ломились наружу, но ничего нельзя было показать. Почему нельзя, я объяснить не мог даже себе. Нельзя – и всё тут.

* * *

Я думала, что я врач и тренированный воин, а оказалось – обыкновенная женщина. Когда Алексей сказал, что в Пасоле нас ждут два кавказца, я начала терять сознание. С трудом договорила несколько фраз

и сказалась усталой, ушла спать. Иван ещё немного поболтал со сменщиками и явился ко мне, совсем хмурый. Сказал, что Алексей и Ефимыч спрашивали, не нужна ли помощь.

– Какая?

– Ну, с этими кавказцами.

– Ты что ответил?

– Сказал, что всё в норме.

– Молодец.

– Почему?

– Что почему?

– Всё, всё, Маруся. Уже некогда притворяться. Давай, всё рассказывай. Тут всё должно быть ясно. Я же не знаю, как себя вести.

Мы говорили очень тихо. Он лёг рядом на узкую кровать, подsunул свой локоть мне под голову. Пришлось рассказывать. Я рассказала, конечно, не всё. Да, я чеченка. Выросла в горном ауле. Хотели, чтоб стала шахидкой. Но я сбежала. Это не я тебя спасла в лесу, это ты меня спас. Я русская теперь. Я – твоя Маруся. Я никем другим не буду. Я хочу рожать тебе детей. Не гони меня, Ванечка. Вот всё, что я ему сказала. Он спросил:

– Что предлагаешь делать?

Я сказала, что отступать некуда. Меня трясло от ярости. Я сказала, что этих двоих надо завалить, как того шатуна. Он возразил:

– Но они ведь не одни. Их кто-то послал. Они не убивать приехали. Они нас тоже боятся. Надо узнать, что им нужно.

Я сказала, что они нас просто боятся, без «тоже». Мы у себя дома и мы их не боимся. А чего им нужно,

ясно и без вопросов. У врача, к которому они зашли после нас, они узнали о нас достаточно. Их интересует наша взрывчатка. Они предложат мне во имя аллаха уничтожить наш склад. А ещё вернее – вскрыть склад и взорвать нефтехранилища в Лидере, а остальную взрывчатку спрятать в тайге для новых диверсий. Иван спросил:

– Ты мне всё рассказала?

Я ответила, что всего не расскажешь. Он прижал меня к себе и стал целовать. Его слёзы были очень горячими. Он шептал одно слово: «Бедняжка». Я тоже поплакала, и стало легче. Мы составили план завтрашних действий и заснули.

Назавтра к обеду были уже дома. По дороге в Пасол я впервые пережила отвращение. Примерно такое же, как перед последним своим боем, когда ехала из Ростова на юг. Всё нутро не хотело, а разум заставлял. Вот так и заболевают по-настоящему: организм протестует против насилия и ломается.

Выйдя из машины у магазина, мы не пошли сразу домой и даже не стали покупать продукты. Военные действия лучше всего получаются на пустой желудок. Мы перешли улицу и оказались в медпункте. Было время приёма, и фельдшерица Аврора сидела в одиночестве. Нас она ненавидела и поздоровалась сквозь зубы. Но Ивану она была одноклассницей, это упрощало задачу. Он сказал, что нужна медицинская помощь. Аврора засмеялась:

– Это врачам-то?

– Нет, не врачам. И учти, Аврорка, здесь нет врачей. Я серьёзно. У нашего соседа поселились двое кавказцев. Он сегодня сказал, что они заболели.

– А что ж вы сами?..

– А кто мы такие? Мы их не знаем, они – нас. А ты – настоящий медик, с дипломом и с должностью.

– А должность – это долг! Так твоя мать говорила, я помню.

Я сказала:

– Аврора, вы не обижайтесь на нас.

– А чего это ты со мной на «вы»? Давай уж..., коллега... Что там с ними?

Я сказала:

– Да ничего. Нам просто нужен свидетель. Они зачем-то к нам приехали.

Иван сказал:

– Ты просто войди и выйди. Чтоб они поняли, что их теперь знают.

– А вы их сами знаете?

Я сказала:

– Не знаем. Поэтому опасаемся.

– Тогда пошли за моим Серёгой. Он как раз на обеде должен быть.

Иван говорил мне, что у Авроры лёгкий и не злой характер. Надо только подойти первым. Так и получалось.

Мы пошли к ней домой. Вездеход, на котором работал муж, в самом деле стоял у калитки, а сам Серёга заканчивал мыть обеденные тарелки. Когда узнал, в чём дело, ухмыльнулся:

– Уже и сюда добрались... Ну, поехали...

Мы лихо выпрыгнули из вездехода у дома Алексея и вошли без стука. Двое сидели за столом, оба – лицом к двери, в напряжении. Аврора спросила:

– Кто больной?

Те переглянулись. Оба молодые, те самые, из диспансера. Один немного старше. Он поглядел на край Аврориного белого халата и ответил:

– Нет больных.

Аврора сказала с напором:

– А мне передали от Алексея, что здесь больные.

– Нет больных.

Тогда заговорил Серёга:

– А вы здесь кто?

– Мы – гости.

– Чьи гости?

– Хозяина. Алексея. Он нам ключ оставил.

– И надолго?

– Сколько понадобится. А ты кто такой?

– Служба безопасности. Ваши документы.

Серёга нагнетал напряжение. Я уже не понимала, к лучшему ли это. Но что к развязке – то и лучше. Два мужчины и две женщины против двух – я уверена – боевиков. Это нормально. Аврору мы сразу оттеснили в сторону, а сами охватили неприятеля полукольцом – трое против двух. Если эти двое в самом деле знают обо мне достаточно, им придётся принимать меня в расчёт.

Они уже стояли, прикрываясь столом. Если толкнут на нас, мои мужчины подхватят его за края и так далее – положение у боевичков проигрышное. Если вооружены, едва ли что успеют: Сергей тоже не в стройбате служил, и в рукаве у него большая отвёртка.

Гости полезли в карманы, а Сергей предупредил:

– Только без шуточек. Отсюда не убежишь.

Двое переглянулись и сели. Бросили на стол паспорта. Старший сказал:

– А зачем убежать? Винаватый убегает.

Сергей переписал их фамилии в свой блокнот. Они ухмылялись, потому что паспорта были в порядке, их владельцы вольготно сидели, а мы перед ними стояли, как просители в конторе. Но боевое преимущество лучше было оставить за собой. Мы не стали садиться. Сергей сказал:

– Итак, причина вашего к нам визита...

Старший:

– А можно посмотреть на ваше удостоверение?

– Нет, нельзя. Вот когда я к вам приеду, тогда будете спрашивать. А если недовольны, поедете сейчас с нами в райотдел – там вам всё покажут.

Он блефовал, он работал обычным водителем в лесхозе. Но выглядел так убедительно, что даже я готова была поверить, что он тайный агент службы безопасности. Пришлось поверить и этим двоим. Им не улыбалось ехать куда-то не по своей воле. Серёга повторил:

– Зачем прибыли в Томскую область?

Старший ответил:

– Работу ищем. Кавказ – трудодефицитный район, начальник.

– И в Пасоле тоже ищите работу?

Они переглянулись. При мне дальше так врать было невозможно.

– Нет. Здесь мы проездом. Родственники узнали, что вот Марьям здесь поселилась, вышла замуж. Просили передать привет, узнать, не нужна ли помощь.

Сергей повернулся ко мне:

– Так вы, Мария Дмитриевна, что, с Кавказа?

– Нет, Сергей Иванович. Я с Краснодара. И родичей на Кавказе не имею. Я этих двоих второй раз бачу.

То у Томске по-своему со мной здоровались, то теперь аж сюды приихалы. Ну шо вы до меня присталы? Хотите, шоб мой чоловик вам по мордам надавав?

И я посмотрела на Ивана. Ему приходилось сурово хмуриться, чтобы не прыснуть. Такой мовы он от меня ещё не слышал. Он тоже посмотрел на меня, увидел, кажется, в глазах что-то ужасное и кивнул обоим.

– Я вас, ребята, тоже запомнил. Вы тут лучше больше не появляйтесь. Ищите своих в другом месте, не в Сибири.

Серёга добавил:

– Деревня вся вооружена и очень вашим визитом недовольна. Своим негде работать. Будете нужны – сами позовём. Так что, попрошу прямо сейчас на останочку. Автобус через полчаса.

Старший спросил:

– А куда?

Серёга ответил:

– Это не важно. Главное, что отсюда. И повторяю: народ вооружён поголовно. Так что очень не советую... Пройдёмте. Ключик – на стол.

Я оглянулась на Аврору. Она смотрела на мужа со страхом и обожанием.

Двое молча собрались и положили на стол ключ от дома. Старший, проходя, сказал мне по-чеченски: «Привет тебе от твоих братьев. И от всех наших, кто за родину погиб». Я ответила:

– Шо?

Серёга резко сказал:

– Говорить попрошу только по-русски!

Я ответила:

– Та я ж по-русски!..

Иван всё же прыснул, но уже скрипела дверь, его не услышали.

Ничего смешного я тут не находила и показала ему кулак. Он забрал со стола ключ Алексея и запер входную дверь. За калиткой Серёга сказал в спину удаляющимся гостям:

– Мария Дмитриевна! Мы к вам вечером заедем. Есть вопросы.

Я громко ответила:

– Хорошо, Сергей Иваныч!

Он прошептал:

– Не Иваныч я! Сергеич!

Тут прыснула Аврора и хлопнула меня по спине. Вот так мирятся в сибирской деревне. Мне понравилось.

* * *

Вечером того опасного дня мы ждали в гости фельдшерицу с мужем. Аврора училась со мной до восьмого класса, потом уехала в медучилище. Серёга Маков окончил школу раньше меня на три года. Когда я уходил на службу в ВДВ, он уже вернулся с ТОФа, из морской пехоты. Наставлял меня перед отъездом, как не выгладеть салагой. Его звали в милицию, но он в десанте привык дёргать за рычаги вездехода, так механиком-водителем и остался. Драться он умел прилично, так что с этой парой пришельцев мы бы справились даже без Маши.

Маша держалась изумительно. Из чеченки получилась такая чудная хохлуша, что я и не верил, что она – Марьям. Вылитая южная славяночка. Я имел об этом представление. Не зря мама преподавала геогра-

фию. К тому же мама была директором школы, поэтому учиться мне приходилось старательно, чтоб не срать... Я понимал теперь и то, почему Маша совсем не употребляет алкоголя: у мусульман вино запрещено.

Маковы пришли с водкой. Интересная ситуация. Как поведёт себя мусульманочка?

Аврора с порога забалагурила:

– Ну, Марьям Дмитриевна, шо будем робить?

Маша скромно ответила:

– Будем знакомиться поближе. Только не говори больше – Марьям. Я и так испугалась.

– Видели, как ты испугалась. Серёга смотрел на твои ноги.

– При чём тут ноги?

– Помолчи, а? – сказал жене Серёга. Но она договорила вредным голосом:

– Он в разведке служил. Он сказал – стойка у тебя рукопашная.

– Не знаю никаких стоек. Всё с перепугу.

Серёга сказал:

– И всё, мать! Хорош!

Сказал таким же тоном, каким говорил с пришельцами. Аврора послушалась. Он очень добро улыбнулся Маше и сказал:

– Это она своих ищет. Она же татарка. Мусульманка. Ей вера выпивать не позволяет. Обрадовалась, что ты чеченка.

Маша сказала Авроре:

– Давай буду для тебя чеченкой, вместе не будем пить. Мужиков-то одна бутылка не завалит.

– Это ты как врач говоришь? Ты в самом деле врач?

– Пять курсов отучилась и попала в аварию. Я теперь никто.

– Не ври, Машка! Я ж знаю, ты здорово лечишь. Научи меня, я способная, я это люблю.

По-моему, у них начиналась дружба.

Мы пили водку, жёны – по-татарски – начали с чая. Всем было хорошо. Южных гостей сначала не вспоминали. Но дошла очередь и до них. Сергей сказал:

– Я проследил, они уехали. Но гарантий нет. Я кое с кем из мужиков поговорил. Если кто такой же появится, народ будет готов. Не боись, ребята. Мы – у себя дома.

Он говорил медленно и прочно, как гвозди в половицы забивал. Я видел, что Маша по-настоящему расслабилась.

На прощанье она подарила Маковым свою лучшую акварель в самодельной рамке: на переднем плане – морской прибой, а фоном – горы. Серёга сказал:

– Ты что, в Усть-Камчатске была? Ну очень похоже. Только бы ещё вулканчик...

* * *

Я поверила, что стала сибирячкой, когда подружилась с Авророй Маковой. Она хороший фельдшер, с крепкими знаниями. Потому и обижалась на меня за знахарство. И честно призналась в зависти. Это замечательно. Только сильный человек может в этом признаться. Теперь между вахтами я ходила к ней в медпункт будто бы в гости, и мы вместе вели приём. Мне не нужен был заработок. Я практиковалась для себя, чтобы не забывать науку. Уча Аврору, училась сама. В том числе и татарскому языку. Она продолжала

подозревать меня в мусульманском родстве. То что-нибудь вворачивала в разговоре из Корана, то заговаривала по-татарски. Я многие слова понимала, но переспрашивала. И «запоминала». Меня учили с детства, что лучший способ уцелеть – стоять на своём до конца. В данном случае надо было до конца стоять против того, чем я гордилась. Я больше не принадлежала к гордому и талантливому народу, который меня породил и воспитал. Я была теперь навеки русская. Я могла только ненавидеть за это нескольких негодяев, которых никогда не видела и никогда не увижу. Они, скорее всего, не чеченцы и не русские. Они вообще никакие. У негодяев нет ни национальности, ни культуры. Они молятся золотой отливке, их надо вырезать поколенно. Так думала я очень часто. И запрещала себе так думать. Потому что теперь, в мирной Сибири, я вспоминала другие фразы из Корана. Малочисленные и суровые, но внушающие всё же надежду.

«Если бы два отряда из верующих сражались, то примирите их. Если же один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратится к велению Аллаха. И если он обратится, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны: ведь Аллах любит беспристрастных».

«А те, которые уверовали и творили доброе, – Мы искупим у них дурное и воздадим им лучшим, чем они творили... Мы введём их в число благих».

Аллах прощающ и милосерд. Но, увы, только к тем, кто уверовал в Него. Иначе – «когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее, а когда произведёте великое избиение их, то укрепляйте узы». Вот тебе и беспристрастность...

Ох, как много я думала над этим божественным эгоизмом! Все боги – истинные, все ненавидят друг друга, но никакого вреда, разумеется, друг другу причинить не могут, потому что бессмертны. Вот и заставляют смертных человечков сражаться друг с другом – «во имя своё». Закон энтропии: всё стремится к одному градусу. И к одному богу. Но никогда этому не бывать, потому что есть разум. Для того он и существует, чтобы распределять в природе энергию. Но эта красивая гипотеза не очень мне понятна. Я просто сделала бы её своей верой. Только чтобы разум не кичился и признавал всё, что есть в Природе. Как я признаю своих бывших единоверцев, так и им надлежит признать меня, верующую только в Разум Природы. Не именем Аллах или Кришна, а просто так. Что есть, то и есть... Но этим рабам обязательно нужно сражаться и убивать – «мечом по шее». И хоть бы настоящими фанатиками были, а то ведь в своём кругу не стесняются, братаются вокруг золотой отливки, истинного своего бога. Гибнут за презренный металл. Скоты. Недоумки. Всех под нож! Всех нетерпимых – к стенке! Я заставляю вас быть счастливыми! Хорошие слова. Жаль, не мои. Я одно усвоила прочно: нельзя даже произносить слово «справедливость» в применении ко всем. Нет такой справедливости, чтобы для всех сразу. Она – как энергия: если перетекла сюда, то где-то её стало меньше. Одно на всех одеяло. Это нутром понимают все. Но продолжают болтать о справедливости.

Итак, если не шутить, каков же выход для беззлобного человека? Вот для меня, для Маши Микулиной. Раскаявшейся убийцы. Творить добро, чтобы Аллах ввёл меня в число благих? Но это опять почти

шутка. Аллах-то после смерти, может быть, и введёт, да мне опора нужна сейчас. Сегодня, завтра, пока живая. Если снова встречу этих уродов, не отправить ли их с приветом к моим братьям, погибшим за родину? Или прервать эту цепь убийств, дабы поистине сотворить благое? Но для кого это будет благом? Только для уродов. Потому что они мечтают теперь только об одном – опередить меня, ибо они определили мне смерть. Тупик. Они будут ждать меня в Томске, в психодиспансере, у Мишки. Он сдал меня или они сами как-то получили там информацию обо мне – это уже не важно. Неотвратимость кары Аллаха – пример для правоверных, вот что главное. Иначе как удержишь народ в покорности режиму? Мою красивую отрезанную голову сфотографируют и будут показывать в домах: Аллах таки ж акбар. Всех под одно одеяло – и не движись.

Меня всегда удивляло, что кровожадный Мухаммед приравнен к непротивленцу Иисусу.

Короче! С волками – только по-волчьи. Бо они человеческой мовы не понимают. Вот это и будет – без шуток. Где встречу, там и убью. Или погибну с именем собственной справедливости на устах. Зря меня, что ли, волки воспитали...

* * *

После маленькой победы над южными гостями Макавы стали часто бывать у нас, а мы – у них. Деревня любовалась, когда мы шли вчетвером по улице. Две чернявых красотки и два рослых славянина. Наша с Авророй старая учительница это нам сказала и добавила:

«Людам кажется, что вся Россия такая скоро будет. А может, и в самом деле?..»

Маша азартно обучала Аврорку медицине, а меня как бы сдала Сергею, в реабилитацию. Так и выразилась: «Он здоровенный, он тебя восстановит тренировками». А какие у двух бывших десантников могут быть тренировки – понятно. Это мне в самом деле помогало крепко. Плюс правильное питание, с минимумом мяса, с мёдом и травами. Боль от ранений пряталась всё глубже.

К маю нам на склад привезли ещё двоих напарников. Мы уже посмеивались про себя над Босым: «Опять нашёл каких-нибудь чудаков. Кто же нормальный пойдёт на эту работу?» Так оно и оказалось. Мыкола Хаменко и Лев Рубашка оказались не только земляками с Западной Украины. Этому совпадению можно было не удивляться, потому что половина фамилий в нашей геофизике – украинские. Второе совпадение – вот что действительно удивляло. Оба они работали раньше в районной газете «60-я параллель», а теперь оба решили стать профессиональными писателями. Обоим было под сорок лет.

Но на этом сходство и заканчивалось.

Мыкола был рыхлый тяжеловес в толстых очках. Он когда-то закончил мелиоративный техникум, но по специальности никогда не работал. Сразу приехал на томский север и устроился рабочим в ПРС – подземный ремонт скважин. Обморозил там все пальцы на руках и попал в больницу. Из больницы написал в «60-ю параллель» свою первую статью, которая клеймила не научную организацию труда в ПРС, из-за чего рабочие терпят неоправданные лишения и обморожения. По выходе из больницы увалень в толстых очках и с авторучкой

в забинтованных пальцах стал посиживать за свободным столом в редакции. Обработывал чужие материалы, писал свои. Так там и остался надолго. Завёл со временем пишущую машинку. Толстыми обмороженными пальцами стучал на ней свои обличения. В чём-то перестарался, попросили уволиться. Тогда и стал охранником взрывчатки. Благо в зарплатке не потерял, а во времени выиграл. Он ещё в газете пытался публиковать свои нравоучительные рассказы. Но герои были слишком узнаваемы и карикатурны. Редактор не решался с ними конфликтовать, потому что они были людьми заслуженными и не столь уж плохими, как рисовал их Мыкола. Ему говорили, что низок художественный уровень и тому подобное. В посредственной литературе всегда есть, к чему придраться. Теперь настырный Мыкола решил стать настоящим профессионалом и всё своё время посвятить оттачиванию стиля и выстраиванию сюжетов. Правда, злые языки из аппаратного цеха вскоре стали поговаривать, что всё – проще: писательский хлеб представляется ему наиболее лёгким: можно писать как угодно и выдавать это за модернизм. Сам он называл такое к себе отношение снобизмом. Особенно доставалось Толе Второму. И не только за то, что «не понимал настоящей прозы», а и за шахматное мастерство, и за то, что даже в физической силе этот сноб ни в чём Мыколе не уступал. К тому же Толя носил украинскую фамилию, а национальной гордости по этому поводу не проявлял. Мыкола гордился своим отдалённым родством с каким-то полковником времён Мазепы и Кочубея, русских называл москалями и кацапами и ждал того же от Толи. А тот в ответ издевался: «Стыдно, землячок: ешь русское сало и русских же поливаешь». Его поддерживал

и Толя Первый, тоже носитель украинской фамилии. Но на него Мыкола так не обижался. Во-первых, этот Толя был гораздо старше Мыколы. Во-вторых, он имел звание майора в отставке, а Мыкола вышел после действительной всего с одной лычкой, хоть и широкой. В-третьих, Толя Первый служил на Байконуре и видел живьём Королёва и Капицу. А в-четвёртых, он так ловко поддавался писателю в шахматы, что Мыкола за доской чувствовал себя наравне с великими и за это всё прощал. Кстати, писателем он сам себя стал называть с первого дня, чего Лев никогда не делал.

Лев Рубашка был уже вполне известным поэтом и фантастом. Он никогда ни с кем не спорил, разве что деликатно и с сомнением высказывался, если просили. Он буквально всё умел делать руками, чем сразу завоевал уважение аппаратчиков. В отличие от Мыколы, он был давно женат, имел сынишку и дочь. В отличие от бездомного Мыколы, он имел в Северном квартиру. В отличие от необразованного Мыколы, он имел высшее педагогическое образование с литературным профилем. В отличие от Мыколы, он был членом Союза журналистов, и из газеты его не отпускали. Но после выхода второй книги он посоветовался с женой-журналисткой и перешёл в охранники истинно ради свободного времени. В отличие от экономного Мыколы, он писал не пером, а только на машинке и изводил зря массу бумаги: мог вырвать, смять и выбросить едва начатый лист, на котором можно было бы ещё столько увековечить мыслей. Мыкола же писал сначала в тетрадке, много черкал, а потом всё перестукивал набело в трёх экземплярах. И тем не менее, Льва читали радостно, а над Мыколой посмеивались. Даже при-

думали ему прозвище, которое произносили с обидной интонацией – Коля-писатель.

Два таких разных человека не могли жить в одной комнате. Мыкола раздобыл себе где-то старый балок, и за пару бутылок водки какой-то тракторист установил это жилище в просеке, между автотрассой и складом, в сотне метров от шлагбаума. Начальство поскрипело, но согласилось: чем ближе к складу отдыхают охранники, тем надёжнее.

Что касается Льва, то он тоже не смог жить в нашем доме, даже в комнате с отдельным входом. Он вполне серьёзно заявил, что, во-первых, пишет только по ночам и не хочет мешать нашему отдыху своим стуком, а во-вторых, он не может сочинять полноценно, если в радиусе тридцати метров есть люди. В первые же дни он выбрал в лесу место, натаскал бревёшек из сухостоя и начал строить дом. За две вахты у него получился этакий шалаш с одним окошком, которому мы дали прозвище «вигвам». Толя Второй подвёл туда электричество, они вместе отремонтировали списанный электрический обогреватель да ещё установили небольшую железную печку, которую оставили строители склада.

Так вышло, что со Львом мы сразу подружились. Он тоже немного рисовал, очень хвалил Машины рисунки, присмотрелся к моим резчицким инструментам, отыскал в посёлке кузню, отковал себе такие же и начал очень успешно резать сам. Как человек практический, хоть и поэт, он резал не бесполезные фигурки, а разделочные доски, подносики для тортов и даже изобрёл досочку заварочную. Размером она была такая, чтобы прикрыть кружку с чаем. Лев изготавливал её из старого

кедра и утверждал, что при заваривании аромат кедровой смолы даёт чаю дополнительный букет. На обратной стороне он вырезал кедровую веточку с шишками, и на стене она смотрелась как украшение.

Поначалу эти двое дружили между собой, как творцы из одного цеха. При этом Мыкола безжалостно эксплуатировал безотказного коллегу по разным хозяйственным делам, потому что сам ничего толком не умел, а комфорт любил. «Лёвка! Резани мне такую досочку для заварки! Ну и блюдо заодно, только не с подсолнухом, а с виноградом и с обезьянами... Пошли, поможешь мне строить сортир со всеми удобствами. Только не вигвам, как у тебя, а правильный, как у белых людей». И Лев шёл, потому что не мог устоять перед напором. И вырезал блюдо с обезьянами. Он был слишком деликатен, чтобы отказывать. И жалел Мыколу за его бездарность. И очень деликатно обсуждал с ним его сочинения.

Нам Мыкола всего однажды показал свою писанину. Маша прочла мне вслух один рассказ и дальше читать не стала: «Одуреть можно». Автору она сказала:

– Николай! Тебе надо сначала всерьёз позаниматься русским языком, если уж ты на нём решил писать.

– А где у меня не так?

– Ну вот, хотя бы: «А с глаз её, ставшими ещё громаднее, показалось, хлынет целое море слёз».

– Шо же тут не так?

– Украинизмы лезут слишком. И управление нарушено.

– Та шо ты понимаешь...

Он забрал рукопись и ушёл, хлопнув дверь. Правда, после этого потребовал, чтобы Лев привёз ему

русский фразеологический словарь. Но на Льва вдруг нашла противность. Они как раз достраивали сортир. Лев положил молоток и молча пошёл прочь.

– Лёвка! Ты куда?

– За словарём.

И не вернулся. В тот же вечер показал нам стихотворение:

В посудной лавке служит слон.

Он любит слушать граммофон.

Весь день до вечера оттуда

Гремят оркестры и посуда.

Безумно музыкальный слон.

И объяснил:

– Этот жанр называется лимерик. Узаконенная не-лепица. К образу Хаменки подходит вполне.

Так Мыкола получил у нас прозвище – СПЛ – слон в посудной лавке.

Мыкола не дождался словаря. Когда заступали со Львом на смену, он начал в грубой форме выяснять отношения. Всё это было при нас. Лев сказал:

– Не смейся людей.

– А шо я говорю так смешного?

Лев ответил впервые без деликатности:

– Не нужен тебе словарь. Ты забыл украинский и уже не выучишь русского.

– Ты хочешь сказать, шобы я бросил писать? Это они тебе сказали?

Мыкола указал толстым пальцем почему-то на меня. Лев деликатно ответил, что у каждого должна быть своя голова. Мыкола закричал:

– А у меня, значит, нет головы?

– Я этого не говорил. Это ты сказал.

Маша засмеялась и сразу вышла. Я остался и сказал:

– Не надо скандалить в караулке.

– А ты, рядовой, помолчи! Отбил у меня Рубашку и радуешься?! Выйдите из караульного помещения, рядовой Микулин! Ваша смена кончилась!

От старшего сержанта Хаменко пахло алкогольным перегаром.

* * *

«Замкнутость пространства очень способствует порче отношений». Это я читала в книге по космической медицине. Теперь пришлось увидеть самой, в караулке при складе взрывчатки. Третий раз подряд.

Я бы уточнила формулировку. «Замкнутость пространства быстро проявляет дурные свойства природы, которые человек в обычной жизни прячет. Или просто не может проявить. Или вообще о них не знает. Но вот попал в тесноту – и зверь выпрыгивает наружу. В большом коллективе сразу со всеми не померяешься силами. А с одним-двумя – вроде не страшно». Вот Мыкола и попробовал.

Делал он это своеобразно – как ему представлялось, интеллигентно. Разговаривал со всеми скупо, только по службе и только на «вы». И что-то всё время писал. Только раньше он писал как бы напояк, а теперь сразу закрывал тетрадь, если в караулку входили.

Жил Мыкола в своём балке безвыездно, в Северном бывать не любил. Он там не имел ни друзей, ни женщины. А в Лидере он натоптал дорожку

в студию местного радио и читал там по вечерам свои назидательные рассказы. Объявляли его так: «Писатель Мыкола Пламя читает продолжение своего рассказа из жизни вахтовиков». Ему этого хватало. Псевдоним Пламя он произвёл от фамилии своего знаменитого на Украине националиста-предка, а потом даже взял его фамилию. Ради нового паспорта пришлось поехать в Северный и потратиться, но этой тратой он гордился. С фамилией Пламя он съездил в отпуск, куда-то на львовщину. Вернулся оттуда героем. Говорил, что с русскими деньгами был там королём. Говорил также, что свобода дороже денег, и он всей душой с украинскими борцами за нэзалэжность, то есть независимость. Толя Второй, конечно, съязвил:

– Что ж ты не остался помогать спасению родины от москалей?

Мыкола, как в известном анекдоте, ответил уклончиво – послал Толю подальше.

Бороться за свободу он начал в Лидере, прямо на базе родной геофизики. Тут и открылась тайна его секретной тетрадки. Он просто сочинял в ней заметки для собственной стенгазеты, которую вывесил в общезитии, рядом с кабинетом начальника смены. Газета называлась «Пламя». Под названием было написано, что это «орган большевистской организации вахтового посёлка Лидер». Никаких фамилий, кроме своей, Мыкола не называл. Только привёл список аппаратчиков, которые будто бы поддержали эту его идею. Список был приведён в конце газеты. Аппаратчики, партийцы и начальство читали рассуждения Мыколы о свободе вообще, о свободе украинского народа

в частности и о его собственной свободе на базе и на складе. Получалось, что писатель Пламя терпит притеснения повсюду, но мужественно борется и ни пяди свободы не уступит. При этом он живописал подробности нашей службы на складе, нашего быта и наших отношений. И делал намёки о «нездоровой нежной дружбе втроём», опять же направленной против него. Центром композиции было «Открытое письмо начальнику экспедиции Босому Игорю Олеговичу». Оно было написано с большим холуйским пиететом и содержало просьбу «разобраться с такими охранниками своей властью и найти им более достойное служебное применение – на помойке». Читавшие сначала хихикали над тем, как трудно Мыколе склонять свою фамилию. Потом жалели «одичавшего Мыколу». Потом сняли стенгазету и спрятали. Потом показали нам с Иваном. Мы согласились: «Да, маленько одичал. Показывать это Босому не стоит». Но Мыкола изготовил газету в трёх экземплярах. Оставшиеся два увёз после очередной вахты в Северный. Один вывесил в конторе, второй положил перед Босым. А сам тут же вернулся в свой балок и начал новую газету. При этом пил собственноручную брагу и из-за этого становился агрессивным. Правда, с кулаками ни на кого не лез, а просто высказывался, грубо и глупо. Мой дед в таких случаях говорил: «Узда потерялась».

Мы уже знали, что Босой получил нелепую стенгазету. Ждали его приезда. Однако история завершилась немного раньше. В одну из ночей, когда мы с Иваном дежурили, а Лев стучал на машинке в своём «вигваме», Мыкола появился, изрядно порезанный, в милицейском участке, в посёлке. Наговорил

милиционерам, что на него напал охранник Микулин: разбудил, наставил карабин и начал рубить топором. И показал раны – на руке, на животе и на спине. Милиция не помчалась сразу на режимный объект, чтобы не попасть под огонь озверевшего охранника Микулина. Она пошла к начальнику нашей смены. Палыч позвонил на склад. Мы с Иваном как раз начали очередную партию в нарды. Я взяла трубку. Палыч спросил дежурным тоном, всё ли у нас в порядке на объекте. Я, как обычно, ответила: «Нападений на склад не наблюдается». Он попросил передать трубку Ивану. Задал ему тот же вопрос, чтобы вслушаться в голос. И сообщил, что сейчас приедет к нам в гости, да не один. И скоро на пустом шоссе появились фары «элпээски». Шёл снег, было далеко за полночь. Машина свернула в нашу сторону и сразу остановилась. В свете фар появились две фигуры: одна – Палыча, другая – армейского вида. Они пошли впереди машины. Иван пошёл их встречать. Я осталась при карабине, как положено.

Было видно, как из машины выпрыгнули ещё трое или четверо и идут за ней, как пехота за танком. Напротив балка Мыколы остановились и попринюхивались к заметаемым следам. Потом оставили машину у шлагбаума и всей толпой пошли ко мне, уже без предосторожностей. Сразу спросили топор. Иван принёс из сеней наш колун. Капитан милиции потрогал лезвие и показал Палычу. Тот крикнул и ухмыльнулся: «Не то». Капитан спросил, нет ли топора поострее. Иван сказал, что второй топор уже месяц гостит у Мыколы. И спросил, а в чём, собственно, дело. Нам коротко описали ситуацию. Спросили,

не появлялся ли у нас Мыкола. Мы ответили, что видели только свет в его окошке. Тогда они спросили, что это за игра, в которую мы играем. И можно ли её отложить, чтобы Иван съездил с ними в посёлок и дал показания. Он с ними съездил и к утру вернулся пешком. Тут как раз и Лев явился на смену. Иван рассказал, что врач не нашёл у Мыколы рубленых ран, только резаные, поверхностные. И ещё нашёл среднюю степень алкогольного опьянения. В тот же день снова приезжала милиция и осматривала балок Мыколы. Нашли его имущество разбросанным и окровавленным. Нашли артельный топор с давно сломанным топорщиком. Нашли несколько разных ножей, но без следов крови. Нашли кровь на разбитом окне. Нашли двухведерную бутылку с брагой. Нашли следы попойки. Подумали и отступились: повесили на Мыколу пьяный дебош в собственном жилище.

В общем, когда приехал Босой, бедный Мыкола уже охранником не был. Работы на базе для него не нашли, и после выздоровления он насовсем уехал в Северный. Там, говорили, устроился «секьюрити» в аэропорт и очень строжился, когда пропускал пассажиров на посадку. Говорили, что сержантские лычки, за неимением погон, он нашёл на рукава. И фамилию сменил обратно, на почти прежнюю – он теперь не Хаменко, а Хоменков. И рассказы писать не бросил. В общем, обрусел.

Когда исчез Мыкола, Лев сказал, что в его трагедии слегка замешана я. Была влюблённость. Мыкола говорил о ней Льву. И даже просил пересказать это мне, потому что сам признаться не решался. Из-за этого ненавидел Ивана. И признавался Льву в чёр-

ной зависти – «как честный писатель». И он, Мыкола, ещё напишет об этом рассказ или даже повесть. Они и поссорились не столько из-за русского языка, сколько из-за того, что Лев «отказался быть сводником».

* * *

Босой сказал: «Не везёт этому складу. Придётся его закрывать». Это он так шутил. Но шутил только наполовину. На томском севере уже упразднили нефтеразведку и начали сворачивать бурение. Людей увольняли из всех организаций, в том числе и из геофизики. Взрывчаткой на месторождениях вокруг Лидера становилось просто незачем пользоваться. Босой сказал: «Ещё год продержимся, а т-т-там, ребята, не обижайтесь. Сами видите – инженеров, геофизиков, водителей увольняют. Прост-т-то вам повезло: сторожей первыми нанимают и последними увольняют».

Лев загрустил. Он сочинял бессмертный фантастический роман, который показал бы человечеству правильный путь. Работы оставалось на полтора-два года. А тут – всего год. Спешить он принципиально не умел. К тому же семейные финансы требовали, чтобы в Северном он не сочинял всякую ерунду, а подрабатывал в столярной мастерской. Дети у него вступили в самый затратный возраст, когда потребляли уже как взрослые, а зарабатывать ещё не могли. И любимая жена стала нервная и больная, не писала больше очерков и репортажей, а работала корректором и зарабатывала всего ничего. Главе семьи приходилось выбирать между судьбами человечества и собственных домочадцев. Лев склонялся к тому, чтобы

выбрать домочадцев. А человечество пусть выкручивается само, как сумеет.

Босой стал нервным. Наезжал на базу всё реже. При встречах жаловался на то, что со всех сторон его рвут. При этом всё сильнее заикался. Рвали его и по поводу охраны взрывчатки: вынь да положи полный комплект сторожей. А тут ещё уволился по старости напарник Алексея. И Босой решил, как он выразился, «на половое преступление». В конце зимы заявил нам, что мы с Машей – самые надёжные охранники, поэтому он забирет от нас Льва, чтобы укрепить вахту брата, а в нашу вахту принимает двух женщин. Сказал: «Я п-поним-маю, чт-то Ивану будет труд-дно в таком-м м-малиннике, но при т-такой жене м-можно справить-ться».

* * *

Это был уже четвёртый год нашей работы на складе. В конце зимы нас опять послали в Томск на медосмотр. Я ждала этой поездки с отвращением. Грызло ожидание драки. Иван сказал, что на всякий случай неплохо бы вооружиться. Но до Томска можно было добраться только по воздуху, а «секьюрити» в аэропорту могли отобрать даже мой складной нож. Не только потому, что большой, а просто они там стали так бояться терактов, что даже отбирали у женщин маникюрные ножнички.

В общем, мы прилетели в Томск налегке. Поселились на этот раз у Палыча, по его дружескому настоянию и из собственных соображений секретности: в гостиницах нас легче было найти. Палыч, конечно, ничего не знал и не узнал.

Прилетели днём и сразу от Палыча пошли по магазинам – вооружаться. Теперь вооружиться в России было нетрудно. В охотничьих магазинах для покупки ножа или патронов разрешение из милиции не требовалось, на газовое оружие – тоже. Там же, в магазинах, нетрудно было высмотреть и человечков, имеющих на продажу стволы под любые патроны. Однако у таких магазинов могли вертеться и мои земляки. Им не стоило труда сообразить, что по прибытии в Томск мы захотим вооружиться. Поэтому не пошли мы ни в «Браконьер», ни в «Охотник», ни в «Оружие». Мы зашли в хозяйственный магазин и приобрели гвоздодёр и несколько кухонных ножей. Когда выбирали ножи, я жеманничала и капризничала, как добрая хозяйка. Иван подыгрывал:

– Тяжеловат для тебя этот нож.

А я отвечала:

– Ты ничего не понимаешь. Зато он режет сам. И ещё вот этот и этот.

Одежда на нас была свободная, инструменты в ней распределились неброско.

Медосмотр мы прошли без приключений. Самое интересное, конечно, произошло в кабинете Мишки-еврейчика. Первым зашёл к нему снова Иван. И сразу вышла медсестра. Сказала мне: «Зайдите тоже». А сама ушла прочь.

Михаил Ефимыч не за столом сидел, а стоял рядом с Иваном и улыбался. Он пошёл мне навстречу и потряс за плечи. И при этом всё улыбался. Он забрал наши бланки и сразу всё подписал и поставил печати. И заговорил уже без улыбки:

– О чеченцах больше не думайте. Они – нормальные ребята. В прошлом году спрашивали о вас, я их послал. Они сказали, что всё равно узнают. И предложили поговорить начистоту, как честные враги. Я сказал, что я никому не враг. Если они имеют претензии к евреям, то это глупо. Пусть ищут всемирное сионистское правительство и туда обращаются со своей враждой. Если найдут. А я – такой же работяга, как вы. И язык знаю только один – русский. Правда, ещё латынь. И пусть они идут работать, как Марьям Давлатова, то есть Маша Микулина. Тогда я буду их уважать. А с волками мне выть не о чем. Вот тут они интеллект и проявили. Сказали, что не охотятся за тобой, а в самом деле просто хотят всё узнать – не более. Я спросил: «Но зачем? Она же от вас отказалась». Они ответили, что чеченцы друг от друга не отказываются, не то что русские. Сказали, что я должен их понять, потому что у евреев то же самое. Я сказал, что понимаю, но не верю им, потому что и мусульманам, и евреям их бог позволяет обманывать иноверцев. Они ответили, что бог на всех один, только не все правильно его понимают. Но в религиозную дискуссию они вступать не хотят, а просто клянутся Аллахом, что не причинят вам обоим зла, а только передадут привет с родины.

Тут я его перебила:

– Они передали мне привет – от погибших родственников. Притом в очень патриотической форме.

Он ответил:

– Да, они мне потом это сказали, когда от вас вернулись. Очень уж вы там оцетинились. Они всё поняли. Ты ведь не одна так ушла. Чеченская нация теряет людей не только в войне, но и так же, как тебя.

Нормальные мирные чеченцы гордо уходят и расселяются по России. Старики в Чечне начинают думать, что в этом расселении есть новый смысл для народа. Такой же, как у евреев. Главное – единства не терять. И сохранить культуру. А резню пора кончать, пока всех не потеряли... В общем, если даже к вам здесь подойдут, не волнуйтесь. Могут даже помощь предложить. И ничего взамен не попросят. Во всяком случае, так они говорят. Смотрите, конечно, сами.

* * *

Никто к нам в Томске не подошёл. Никто по пятам не ходил, из-за угла не целился. Как прилетели, так и улетели. Только при досмотре вещей клерки в форме разглядели в багаже наши инструменты и сказали, что ножи и гвоздодёр придётся сдать на хранение в милицию, а когда вернёмся, нам их отдадут. Маша была всё это время и без них на взводе – всё ждала контакта с земляками. Да и мне было не по себе. Так что теперь мы дали себе волю и устроили скандал. Мы кричали, что вообще никогда в этот город не вернёмся. Мы потрясали паспортами с деревенской пропиской, вахтовыми удостоверениями, разрешениями на служебное нарезное оружие, взывали к совести и грозили, что дойдём до самых высоких начальников. Кончилось тем, что через их дурацкий «накопитель» пошёл экипаж нашего самолёта. У всех троих пистолетная кобура под тужуркой деформировала статную фигуру. Командир вслушался в перепалку и сказал, что наши инструменты полетят в пилотской кабине. «Сеньюрити» тут же стали приветливыми и сказали: «Вот видите»,

будто это они всё так хорошо устроили. Весь полёт мы купались в уважительных взглядах пассажиров-северчан. Кое-кого из них досмотрщики тоже пощипали, только успешнее.

В конторе Босой сказал:

– Эту вахту будете работать уже вчетвером.

Мы спросили, кто эти женщины. Он ответил, что обе – жёны наших работников и обе – из орска. Та, что жена начальника партии Вити Репкина, работала инспектором столовых. Они с Витей были несколько лет в разводе, а теперь снова встретились на каком-то месторождении и решили больше не расставаться. Вот она и готова перейти из инспекторов в сторожа, лишь бы к Вите поближе. А вторая – повариха из северской столовой. Она в гражданском браке сошлась с одним из наших шофёров и хочет летать на вахту вместе с ним.

Мы знали Витю Репкина. Ему было под сорок. Он бывал у нас на складе, потому что дружил со Львом. Ему Лев даже давал читать свои рукописи. Витя слыл среди партийцев интеллектуалом и занимался марафонским бегом. Правда, бегал нерегулярно, между заплатами. Он одно время был даже начальником смены, но перед нашим приходом на склад стал начальником партии. Говорили об этом разное. Толя Второй считал, что так он спасается от пьянства, а Палыч сказал, что просто начальник партии больше зарабатывает. Лев тоже склонялся к этой версии, а он-то Витю знал.

С гражданским мужем второй нашей сменщицы мы тоже были знакомы. Звали его Гена Губин. Ему было за сорок. В прошлом был неплохим боксёром. Потом убил кого-то в кулачной драке и отсидел двенадцать

лет. Он был долговяз, угрюм с виду, но нрав имел добродушный и умел весьма тонко шутить. Даже в совсем пьяном виде он казался лишь чуть-чуть навеселе, притом становился добродушнее, чем трезвый. Он отличился тем, что восстановил своими руками списанный вездеходный автобус и теперь был на нём незаменим: куда велели, туда ехал, в любое время. Мог заменить любого водителя на любой машине. В свободное от поездок время подрабатывал на базе сантехником. Он вообще жил на базе, только иногда навещал в Новосибирске стареньких родителей – деньги им возил да ремонтировал избушку на окраине города.

И с Витей, и с Геной у нас были хорошие отношения. Оба заранее подходили и спрашивали, не против ли мы, чтоб их дамы сердца работали сторожами. А как тут будешь против, если всё уже решено? Да и после всех предыдущих неудач со сменщиками нам оставалось только надеяться на чудо.

И чудо произошло. Только не счастливое. Лучше назвать его не чудом, а редким совпадением.



ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА

Я всю жизнь имела дело больше с мужчинами, поэтому появление сразу двух женщин рядом меня тревожило. Правда, Ивана мои тревоги никак не касались. Я его ни к кому не ревновала. Есть мужчины, у которых надёжность написана большими буквами на лбу. Их не ревнуют. Их обожают. Я такого ждала и дождалась. Меня беспокоил сам факт присутствия женщин – в таком месте, где и мужчины не в своей тарелке. Они ведь могут начать беситься ещё раньше, потому что их суетность – природна.

Как кино, впечатался в память момент их появления. Автобус Гены остановился у нашей избушки, из салона выпрыгнул Витя, а в двери застряли две малорослых дамочки с вульгарно раскрашенными лицами. Одна была худенькая и нарядная, со взбитыми отбеленными волосами, в платье до пола. Вторая была одета, как деревенская баба, собравшаяся в город, круглое курносое лицо и прилизанные волосы лоснились, толстое тело колыхалось. Они не решались выпрыгнуть из автобуса, потому что трап лежал в салоне, а вместо ступеньки в метре над землёй был натянута – для героических мужчин – обрывок цепи.

Витя лихо выпрыгнул, не пользуясь цепью, и принял на руки худенькую. Тут подоспел Гена

и снял с высоты толстую. Стало ясно, что худенькая – это Матильда Репкина, а вторая – Клавдия Ковалёва, бывшая повариха. Гена поднялся в салон и начал подавать Вите сумки с продуктами. Я сказала тихо:

– Ну, Иван, держись, они тебя закормят.

Иван засмеялся. Матильда не слышала моих слов, но видела, что говорю о них. В её взгляде мелькнуло что-то недоброе, но сразу исчезло, будто померещилось. Она посмотрела на мужа и улыбнулась ему широкой, но жутковато кривой улыбкой. Все верхние зубы отлиты были из жёлтого металла. Золотая отливка...

Из кабины автобуса тем временем вылез, отдуваясь, тучный Босой, пожал руку Ивану, и представление началось. Он представил нас друг другу, выразил полагающиеся к случаю надежды, и все двинулись в караулку.

Тут выяснилось, что допуска к оружию у обеих дам нет, поэтому нам придётся их «подстраховывать». Босой сказал:

– Вам же проще: меньше писанины. Вы всё равно тут живёте, а они на отдых будут уезжать на базу, к мужьям под бочок, ха-ха. Допуски на них к осени оформим. Сами знаете, это дело длинное.

Очередное неудобство. Один из нас теперь должен был постоянно находиться при оружии, на случай внезапной проверки. Прощайте, мечты о совместных прогулках по лесу, о походах на клюквенные болота... Нас не только лишили умного и надёжного Льва, но и навязали явно некачественное общение. Из склада ВМ в последний год сделали богадельню. Эти мысли, наверно, отразились на моём лице. Я догадалась об этом по второму взгляду Матильды. Он не обещал мира.

Но поначалу жизнь изменилась мало. Поначалу новые сторожихи ещё присматривались и потому принимали правила, по которым жили мы.

Их привозил утром Гена или Витя, они шли с сумками от шлагбаума и всегда оживлённо беседовали. Разговор продолжался почти без перерыва до следующего утра, когда за ними приезжал один из мужей. Если во время их дежурства рядом оказывался кто-нибудь из нас, его старались втянуть в беседу. Матильда любила рассказывать о своей жизни, Клава – о своей. Я несколько раз послушала, как Клаву в восемнадцать лет прокляла родная мать – по всем правилам, перед иконой. За что, Клава не говорила. Историю с проклятием она обрывала смехом и сразу начинала жаловаться: какие тяжёлые были кастрюли в столовой и как плохо стало теперь с продуктами. А Матильда рассказывала, как жила с первым мужем, то есть с Витей Репкиным, как не было детей, а ей хотелось, как увлеклась офицером пожарной охраны и ушла от Вити, как родила сына с нарушенной психикой, как мучилась с обоими, потому что пожарный пил, а сын «вытворял всякое», как через двадцать лет встретила снова Витю и добилась, чтобы он бросил больную жену и вернулся к ней. Она говорила медленно, но без остановки и так важно, будто читала лекцию:

– Я взяла его стихами, мы встретились случайно на месторождении, я там инспектировала столовую, и целые сутки разговаривали, а через месяц встретились снова, и я положила перед ним общую тетрадь со стихами, он прочёл и развёлся с женой, а я ушла от своего пожарника...

Она показывала нам эту тетрадь. После разговоров о поэзии в обществе Льва и Толи Второго её вирши невозможно было ни слушать, ни читать. Это было даже хуже, чем застольные поздравления юбилярам. Там хоть просто добрые друзья желают человеку «быть вечно молодым», а эта вскрывала, как патологоанатом, собственную постельную страсть: «мои бёдра помнят твои огненные пальцы» и тому подобное, да ещё без рифмы. Клаву эти вирши приводили в экстаз, она их переписывала для соблазнения Гены. Обе поглядывали при этом на меня. Приходилось выдавливать что-то вежливое и искать очередного предложения, чтобы уйти. Они всё видели на моём лице, потому что для них я не обременяла себя театральными упражнениями. Я чувствовала, что без меня мои кости моют постоянно, но становиться для них своей было выше моих сил. Про себя я звала их так, как звали все вахтовики ворон на столовских помойках – «орсовские косачи». А Иван почему-то прозвал их «каштанками».

Собственно говоря, до самой осени отчуждения между нами и «каштанками» не было. Они были старше нас по возрасту, мы – старше их по службе. Получалось два самостоятельных маленьких коллектива. Как говорится, вооружённый нейтралитет. Да ещё вооружёнными были только мы с Иваном. Ключ от сейфа мы постоянно носили в кармане, а «каштанок» карабин не интересовал. Они всё лето рылись в огороде, часть которого мы им отделили от своих угодий. Когда просили отпустить их пораньше к мужьям, мы охотно отпускали: без них нам всяко было способнее. Благодарность за разделанную землю, за подстраховку, за терпимость к их выходкам – всё это

держало их в некоторой зависимости, и они нас терпели без видимых усилий.

Кстати, о выходках. Время от времени они поочередно бросали пост и убегали за три километра в посёлок – проверить, не изменяют ли мужья. На наши замечания отвечали: «Ну вы же всё равно здесь. И не спите. Что вам, жалко?» Однажды Матильда приехала на вахту с двухдневным опозданием. Объяснила это тем, что у Вити был праздник, день геофизика, и её «тоже оставили». Иван назывался у нас бригадиром и составлял рабочий табель. За эти два дня он поставил Матильде прогулы. Она устроила негромкий скандал: «Тебе что, жалко?» А в конце мая Матильда устроила поджог.

Иван спал после ночной смены, я сидела в караулке вместо «каштанок», а они в сотне метров от избушки рылись в огороде. Я читала и поглядывала в окно на дорогу. Всё было штатно. Вдруг над огородом поднялся дым. «Каштанки» замечались. По высокой сухой траве пополз огонь. Они били его лопатой и какой-то веткой и отступали. Рядом был завал из корневищ, который оставили строители, дальше – подсохший лес. Рядом же был тарный склад – дощатый сарай, где хранились не только фанерные ящики от взрывчатки, но и снегоход, бензин, доски, олифа, масло. Рядом был и противопожарный водоём, но о нём «каштанки» забыли, да и ведра у них не было. Я разбудила Ивана, схватила ведро и бросилась к водоёму.

Круг огня расширялся быстро, ветер крутил, и непонятно было, куда понесёт. Могло метнуть факелок через канаву, за колючую проволоку – там тоже оставалась сухая трава вокруг хранилищ. Хотя и невелика вероятность взрыва, а всё равно противно: отвечать за

пожар придётся нам с Иваном. Я плеснула из ведра. Расход воды большой, результаты мизерны. Огонь обошёл залитое и с треском двинулся дальше. Такие пожары мне никогда не приходилось тушить.

Спас положение Иван. Он прибежал с ведром и огородной лейкой. Сказал: «Не лейте, только таскайте мне воду». И пошёл по краю пожара, гоня перед собой душ. Через десяток минут огонь уже не распространялся. Мы затапывали посреди очага головешки и растаскивали тлеющие корневища из завала. До живого леса огонь не пустили. Иван спросил:

– Как загорелось?

Матильда дрожащими пальцами закурила и ответила:

– Вот так же решила отдохнуть, закурила и бросила спичку в траву. Шла, зажигала и бросала, зажигала и бросала...

– Зачем?

– Не знаю. Захотелось и всё. Думала, наверно, что успею затаптать.

Посмотрела на Ивана ясным взглядом и ласково попросила:

– Не надо никому говорить. Я всё поняла.

Иван молча кивнул и ушёл. Мне там тоже было нечего делать, но я всё-таки напонила:

– Мы ведь по инструкции должны отбирать спички у всех, кто приезжает на склад. А не то что самим... Не забывай, пожалуйста. – И попросила: – Побудьте здесь ещё некоторое время, последите, не выскочит ли огонь.

В глазах Матильды было что-то тёмное. Клава непривычно молчала. Перед уходом они и меня в два голоса попросили «никому не говорить».

Просили не дружески, а униженно. Мне это сильно не понравилось.

Витя Репкин всегда казался очень уверенным, знающим и умелым. Он в своей работе действительно считался первым специалистом. Его партия зарабатывала больше всех. Правда, поговаривали, что он просто умеет ловчить. Постоянно вертится у заказчиков и получает лучшие, дорогостоящие заявки, что-то там химичит с материалами подземной съёмки. Но никто его на этом не поймал. Зато компьютер он освоил первым, от этого и успех. Попутно он с помощью компьютера пытался выиграть в какой-то денежной игре: покупал билеты, подсчитывал вероятность и зачёркивал клеточки по компьютерной системе. Но, кажется, дальше фифти-фифти дело не пошло. Ходили слухи о Витиной жадности и скупости. Будто он на конторских праздниках – вроде Дня нефтяника или геолога – припрятывал закуску и выпивку и уносил это домой. Будто получал на свою партию консервы и часть этих банок присваивал. Будто даже получал за это по морде, от своих же.

У меня к Вите была только одна претензия. Чтобы водители не растаскивали на запчасти законсервированную технику, эти машины Босой приказал перегнать к нам на склад и выстроить в линейку напротив окна. Подойти к линейке можно было только механику, и то – с пропуском за подписью самого Босого. А Витя однажды приехал по-свойски к жене и сразу полез под капот одного из грузовиков. Иван ему помешал. Витя обиделся. Сказал, что старается для производства, чтобы его машина не отказывала на заявках. Он был слегка пьян. Это нам тоже было поперёк. И мы его выпроводили. На следующее утро он приехал за

Матильдой и сразу подошёл к Ивану с извинениями: мол, пьяный был. Конфликт красиво погас. Однако мы напрасно не сделали выводов. Они с женой в этом оказались похожими: грешить, каяться и грешить дальше. У Вити на базе стояла будка от списанного подъёмника, набитая запчастями, на зависть механику. Но ведь никто Витю на краже не поймал.

Слабым местом у Вити была только Матильда. Он в своей партии был первым после бога, зато она вила верёвки из него. Что велела, то делал. Через него она и добилась, чтобы её психически больного сына Босой взял на работу. Витя имел влияние на Босого, поскольку его партия давала конторе основную часть доходов. Но этого влияния хватило только на то, чтобы парня приняли разнорабочим на базу. А маме хотелось, чтобы он работал рядом с ней на складе. Шла какая-то закулисная возня, чтобы создать должность рабочего на складе взрывчатки или как-нибудь перетасовать охранников. Нам Босой об этом не говорил. Но слухи по базе ползли и доходили до нас. Дошли наконец и подробности о том, что везде, где бы эта Матильда ни работала, она обязательно обрастала конфликтом, как шерстью. Когда начинала где-то поварихой, попыталась подсидеть заведующую производством, но опытные бабы съели её. Поработала потом в разных фирмах, везде конфликтовала и снова оказалась в орсе, уже инспектором, и стала есть тех, кто съел её. Но не успела, встретила Витю. Теперь начала что-то непонятное среди геофизиков.

Осенью Репкиной вручили разрешение на оружие. Она сразу схватилась за карабин, начала его изучать и для начала пальнула в пол. Сказала, что случайно. Но я вспомнила весенние спички в траву и не поверила.

Выстрел в караулке – это ЧП. Приехал новый начальник смены, который заменил нашего друга Палыча, уволенного почему-то по сокращению штатов. Нам сказать о выстреле было нечего. Матильда приняла оружие под роспись, пальнула в пустой караулке. Её пожурили для начала и списали всё на случайность. А когда начальник уехал, она призналась нам и Клаве, что забыла патрон в стволе и нажала просто так, чтобы спустить курок. Странно было слышать это признание. Насколько помню из курса психиатрии, некритичность – первый признак неадекватности. То есть, научно говоря, у психа для себя всегда одна оценка – высшая.

Когда мы остались с Иваном одни, он сказал:

– Нам теперь надо её бояться. Куда ещё она может направить ствол?

Он тоже вспомнил весенний пожар. А я вспомнила психически больного сына. У этого парня было большое сходство с мамой в манерах. Так же основательно говорил всякую ерунду, глядел при этом такими же ясными глазами, так же задумывался в работе и что-нибудь рушил. О его странностях раньше на базе не знали, но уже начали примечать. Мы с Иваном решили всё же выложить Босому свои опасения, когда приедет. Но не пришлось. Не успели.

Дружба Матильды с Клавой крепла. Меня они в разговоры больше не тянули. Даже более того: замолкали, когда я входила в караулку. И свою стряпню нам больше не предлагали, ели сами. Это, впрочем, меня устраивало. Никогда не любила есть из чужих рук. Готовили они хорошо, но в меня их стряпня всё равно не лезла, будто у них руки грязные.

* * *

В октябре уволился Босой. По слухам, его выжили. Он был сильным профессионалом с большим полевым стажем, но над ним Москва посадила кабинетного геофизика. А тот окружил себя такими же. А Босой сам рассчитывал стать главным в тресте. А тут и пенсионный возраст. Кабинетные интриги – не моя сфера понимания. Нам внизу, в принципе, должно быть безразлично, кто руководит производством. Лишь бы не вредил. Но Алексей на пересменке сказал, что после его брата дела пойдут вниз. Он сказал, что наша геофизика похожа сейчас на всю Россию: верх взяли не те, кто производит, а те, кто потребляет. И так будет до тех пор, пока не высосут все запасы. Тогда нужда заставит снова производить. Если останется – кому и из чего.

Алёшка всегда был философом. Он бродил по тайге и размышлял о планете и о человечестве. У него перед глазами человечество расплзлось по Земле, как лишай, как раковая опухоль. Он так по этому поводу говорил, что предсказывал всеобщую нашу гибель. И говорил, что это будет уже не в первый раз. Он ничего об этом не читал, но говорил, что ему «дано знание». И старик Ефимыч, который с ним работал, говорил такое же. Оба уверяли, что человечество – ошибка Природы, которую Она никак не может исправить.

Мрачный и циничный народ эти лесные отшельники. Нам с Машей в пору было становиться такими же. Нам четыре года казалось, что мы достаточно удалились от общества, но оно достало нас и на лесном складе. Даже хорошо организованная кавказская банда не смогла нам так навредить, как навредили две тупые бабы.

В декабре меня отправили в отпуск. Насильно. Когда-то Босой пообещал, что нам с Машей вместе в отпуск ходить не придётся. И мы не ходили совсем. Все четыре года. А Босой не возражал. Говорил: «Склад ВМ – моя вечная головная боль» и был только рад, что хоть одна смена абсолютно надёжна. Даже его братан мог оставить в караулке одного Ефимыча и уйти на два дня в тайгу, а тут – инспекция РГТИ: «Почему на складе один охранник вместо трёх?» А у нас с Машей за все эти годы – ни одного замечания. И Босой соглашался: «Зачем вахтовику отпуск, когда он и так две недели каждый месяц гуляет?» Но едва он уволился, на нас тут же обрушили «охрану труда». Я остался в деревне, а Маша оказалась наедине с «каштанками».

Отдых выдался у меня даже бестолковее, чем ожидал. Сосед Алёшка приходил часто, много ругался на политические темы, предсказывал гибель России, а потом и всего человечества и из-за этого всегда был пьян. Танька к нему больше не ходила, а попыталась восстановить довоенные отношения со мной. Явилась в пургу, с водкой и закуской. Сказала, что её никто не видел. Сказала, что в такую погоду выгонять её нельзя. Ну и так далее, начала раздеваться. А я уже неделю был без Маши, во мне всё напряглось. Танька видела, как мне трудно и тёрлась, и просила закрыть глаза. Но я на неё смотрел в упор. И рук не поднимал. И помнил её предательство. И думал, что она склоняет к предательству меня. И сама предаст при первой возможности. И точно знал, что едва закрою глаза, я перестану думать и потеряю себя, потому что очень хочется. А в это время где-то в лесной караулке восстанет покойный шатун и разорвёт мою чеченочку... Я сказал:

– Там Лёха пьёт в одиночестве. Иди к нему, тут близко.

– Я к Лёхе ходила, чтобы быть поближе к тебе.

Она это сказала очень беззащитно. И прильнула и закрыла глаза. Но она их закрыла, потому что в них не было правды. В них было предательство. Я сказал:

– Тогда провожу тебя домой. Одевайся.

– Нет, я останусь.

– Тогда я пошёл за твоим отцом.

– Да ты мужик ли?!

– Нет. Я не мужик. Одевайся.

И подал ей шубу. Она боялась отца. Но ещё сказала:

– Всё равно нас вся деревня увидит вместе.

– Тебя одну не увидели, авось и двоих не увидят.

– Н-ну, ты не мужик...

Мне было трудно быть не мужиком. Она была мягкая. Вот рвануть сейчас с неё шубу... Но я придумал такое, от чего стало смешно: «Она СЛИШКОМ мягкая. Как толстая Клава. И как кисельная Матильда. Обе ко мне прикасались. Особенно Матильда. А такой ПРАВИЛЬНОЙ мягкости, как у Маши, нет ни у кого. И я проводил Таньку до её дома. Шли под ручку, и никто нас не встретил, потому что было воскресенье и мела пурга.

После этого я стал держать дверь на задвижке. Танька всё время казалась где-то рядом. Наверно, ворожила на меня у какой-нибудь бабки. Мучительный отпуск.

Маша вернулась мрачная. Сказала, что у «каштанок» появились к ней нелепые претензии. Она, мол, нарочно им вредит.

В самом деле, всё это было непривычно: бабьи дразги при боевом оружии. Дурачок Мыкола, да и все другие до него, бузили по пьяному делу – хоть и бессмысленно, а как-то понятно. У этих же всё было трезво, продуманно и, между тем, совершенно нелепо.

Началось без меня, потому что вдвоём мы были силой, а одна Маша казалась им беззащитной. Да так оно и оказалось.

Без бригадира все равны. «Каштанки» поняли это буквально. Когда в конце вахты подсчитали отработанные часы, у Маши получилось больше. Она первой начала вахту, последней заканчивала, а Клава ещё и проездила двое суток в какую-то деревню к родственникам. В общем, они подняли крик о равенстве и вынудили Машу отдать им свои отработанные часы. Теперь больше стало у Клавы, но это «каштанки» объявили справедливым. А Маша ведь воин, ей эти мышинные игры – вне природы. Она по-мужски плюнула и уступила. И зря. Они решили, что теперь можно всё. Начали придираться к её образу жизни: неприлично снегом во дворе обтираться, незачем бегать за шлагбаум и по трассе, что за книжки ты читаешь и тому подобное. Она – ноль внимания. Тут муж Клавы напился в гараже. Клава потребовала его к телефону и стала звать на склад ночевать. Пьяного. К боевому карабину. А у самой и допуска нет. Маша взяла у неё трубку и сказала Генке, чтобы не приезжал. Он, конечно, послушался. И началось самое интересное. Клава позвонила на караульную вышку. Оттуда прибежала заспанная Матильда. И обе начали кричать, что Маша «соблазняет их мужей». Именно кричали. Маша ушла из караулки. Они тут же позвонили новому начальнику смены и громко пожаловались,

что «охранница Микулина создаёт им нетерпимые условия, не даёт нести службу и вообще она чеченка, террористка и готовит взрыв нефтехранилища в Лидере, у них есть неопровержимые данные». Тут у Маши кончилось терпение. Она выкинула «каштанок» во двор и заперла за ними дверь. Сказала: «Остыньте и марш на вышку, а к оружию больше не подпущу». Они на вышку не шли, долго били в дверь ногами и ругались так, что ей хотелось их убить. Потом обе замёрзли, но на вышку всё же не пошли, а вооружились поленьями и начали бить в караулке окна. Маша взяла карабин, дослала патрон и сказала, что ей, террористке, терять уже нечего, поэтому она их сейчас тут положит, если не уберутся на вышку. Они убралась. Но не на вышку, а в посёлок. Пешком. Среди ночи.

Пока они шли, Маша продумала их возможные действия и позвонила начальнику смены. Описала ситуацию и сказала, что эти двое постараются всё повесить на неё, но лучше милицию на склад не присылать, потому что она после восьми вечера имеет право никого к складу не подпускать и применит оружие без предупреждения. Начальник смены спросил: «Ты что, правда – чеченка?» Она ответила: «Чеченка, украинка, русская и советская. Приезжай утром, покажу паспорт. И в контору позвони, в отдел кадров. И в Томск, в разрешительную систему УВД». И бросила трубку: надо было срочно завешивать окна одеялами и топить печь.

В общем, к утру все повели себя так, будто ничего не произошло. Начальник смены – Малышкин его фамилия – привёз «каштанок» и почти трезвого Гену. У Клавды был подбит левый глаз. Гена сказал Маше: «Вот, я её поучил, она к тебе больше не полезет». А Клавде он

сказал: «Вот Маша – настоящая женщина». Эти слова Маша восприняла как приговор: теперь-то её возненавидят смертно.

Начальник смены и Гена вставили новые стёкла. Это было очень хлопотно, потому что мешали решётки, и пришлось вынимать рамы. Потом «каштанок» оставили дослуживать, а Машу увезли с вещами, насовсем, потому что завтра всё равно вахта кончалась.

После этого рассказа Маша предложила составить план поведения на следующую вахту. Я сказал: «А чего составлять? Будем теперь служить без поддавков, вот и всё. Вместе они теперь сидеть в караулке не будут. Клаве карабин не полагается, пусть дежурит на вышке. Репкиной лучше бы тоже оружие не давать, ну да шут с ней. Будем присматривать. Авось год – как-нибудь, а там – всё равно всех уволят». Маша молча кивнула. Потом спросила: «А как ты думаешь, откуда они узнали?..» Я ответил, что вариантов много: «Могли каким-нибудь способом сообщить кавказские земляки. Сергей с Авророй молчать не присягали. Мог сказать кому-нибудь сосед Алёшка. Тому же Босому, например, а тот – ещё кому, мало ли... Да эта малохольная Матильда могла просто придумать. С неё станется». «Но почему?» Вот на этот вопрос я ответить не мог. Если даже женщине недоступна такая логика, то что взять с меня? Решили, что когда-нибудь всё выяснится само собой.

* * *

Иван не проявил ни малейшей ревности. Ведь мог бы хоть пошутить: неужели, мол, «каштанки» не имели никаких оснований для женских подозрений?

Чистая душа мой Иван. А у «каштанок» основания были. Притом у Матильды больше, чем у Клавы. Гена просто назвал меня при Клаве «настоящей женщиной» – и ничего другого не было. А Витя – тот, видно, остыл уже после тетради стихов, а больше ему не писали. Вот и потянуло на свеженькое. Ухажнул за мной в день приезда. Прямо в машине. Сел между мною и Матильдой и незаметно взял за руку. И страстно сдавил. Я повернула к нему голову. Он закусил нижнюю губу и страстно покрутил головой. Я попыталась мягко освободиться. Он держал крепко. Я встала с лавки и повернула руку в сторону большого пальца – так разжимают любой захват. Перешла к окну над кабиной и до самого склада стоя смотрела вперёд. Полагаю, Матильда ничего не видела, иначе тут же вцепилась бы Вите в лицо. Она, говорили, в Северном уже такое делала. Всё складывалось пусто и дико. И называлось крепким русским словом «блуд», от которого происходит злое и презрительное ругательство. Я это ругательство Вите шепнула. Он улыбнулся. Клава и Матильда в это время были заняты друг другом, а Гена был за рулём.

Новый начальник смены тоже повёл себя блудливо. За пару дней до скандала зазвал меня в пустую диспетчерскую, сел рядом, начал спрашивать, как дела на складе, и тоже взял за ручку. За правую. Я вырваться не стала. Я постучала себя свободной рукой по колену и сказала: «Отпусти, Валерий Антоныч, а то станешь глухой на правое ухо». Он уже был хромым на левую ногу, намёк понял и обиделся. Но руку отпустил и с тяжёлой улыбкой сказал, что у него просто есть доверительный ко мне разговор. Он, мол, в прошлую вахту

ездил на охоту. С нашим карабином. Я поверила: когда мы с Иваном сутки отдыхали, Матильда с Клавой могли отдать ему второй карабин, который постоянно стоял в сейфе из-за того, что у Клавы не было к нему допуска. Мы-то в их дежурство в сейф не заглядывали. Я спросила: «И зачем же мне это признание?» «Да вот опять собираюсь на охоту. А поскольку ты с женщинами теперь всё время дежуришь, то факта больше не скрыть. Вот и хотел твоего понимания. Разрешешь? На пару суток...» И снова взял за руку. Я встала, освободила руку и сказала, что своей работой дорожу и в таких играх не участвую. Он тоже встал и молча ухромал в свою комнату.

По здравом размышлении, некоторую логику из всего этого можно было выстроить, но всё равно получалась она какая-то хромая. Ну не могли нормальные люди бить окна по столь косвенным причинам. И Ивану я об этом промолчала.

Мы решили держаться на вахте нейтрально, будто ничего не произошло. И самим, когда приехали, показалось, что все участники конфликта держатся так же. И казалось так целые сутки. А когда Малышкин привёз «каштанок» на смену, Матильда открыла сейф, извлекла оттуда коробку с патронами, высыпала их на стол и принялась пересчитывать. Раньше у нас никто так не делал: доверяли друг другу. Она сидела и считала, а остальные стояли и смотрели. На круглой Клавиной рожице застыло торжество, Иван мрачно ухмылялся, начальник смены безразлично смотрел в окно. Пересчитав патроны, Матильда сложила их в коробку и потребовала, чтобы ей предъявили остальные восемь. Я сказала:

– Они в карабинах.
– Достань.
– Зачем? Всё смазано. Открой затвор, надави пальцем на верхний патрон – сразу поймёшь, сколько их там.

Матильда сказала, почему-то не мне, а Малышкину:

– Карабин полагается сдавать без патронов. Я видела в Северном инструкцию.

Я ответила:

– Такой инструкции у нас нет. Хочешь – сама разряжай.

Малышкин молчал. Матильда неумело и с опаской отковырнула крышку магазинной коробки. Кое-как вытрясла оттуда четыре патрона. Кое-как защёлкнула крышку. Ещё дольше провозилась со вторым карабином. Все молчали. Она высыпала патроны в карман куртки и расписалась в постовой ведомости: приняла оружие и боеприпасы. Я сказала:

– Патроны в масле, мусор налипнет, потом их – в карабин...

Она рявкнула:

– У нас нет мусора! Это у вас!

Я сказала:

– Мы не курим.

Я давала ей понять, что у всех курящих табак в карманах. Но она не поняла и выпалила:

– Сдали смену – свободны! И не заходить в караулку!

Иван, наконец, заговорил:

– Вот что, граждане. По инструкции, один охранник должен находиться в караулке, другой – на вышке.

Как старший здесь, я буду это теперь контролировать. Говорю при начальнике смены.

Матильда взвилась:

– Нашёлся начальник! – И к Малышкину: – Скажи ему!

Малышкин сказал:

– Сами разбирайтесь. Я ничего не слышал.

Иван сказал:

– Как это не слышал? Я обязан писать докладную начальнику смены...

– Никаких докладных я не приму!

И ухромал к машине. Он разрешил войну. Клава сообщила:

– Нет тут больше старших! Отменили!

Война началась холодная. До последнего дня вахты нам мелко пакостили и отпускали глупые бытовые колкости. А в последний день устроили погром.

Последняя смена была на этот раз у «каштанок». Мы уехали ночевать на базу, а на следующее утро прибыла бригада Алексея, и Иван решил съездить с ними на склад, чтобы показать стеллажи и ящики, куда мы убрали от вредных баб артельную посуду, инструменты и собачий корм.

Перед любимой караульной избушкой Иван сразу увидел кучу поломанных досок. Это были останки стеллажей. Рядом, у стены, были составлены все наши ящики и свалены вещи. Всё это за ночь припокрошило снежком. Иван потерял дар речи. Потом пошёл к «каштанкам» с вопросами, но они подняли визг: «Посторонние в караулке!» Расписались в постовой ведомости и убежали в машину. Иван осмотрелся в избушке. Выброшены были наши кровати, столик –

в общем, остались голые стены. Иван стал звонить на базу и требовать начальство. Приехал наш бывший главный инженер, которым теперь заменили Босого. Холодно сообщил, что это, конечно, непорядок, но всё равно принято решение переселить всех охранников в общежитие, поэтому, мол, пока занесите вещи обратно, а с новой вахты вам надлежит сразу переселиться на базу.

«Каштанки» ходили по общежитию с видом победителей и смотрели мимо нас. Клава снова сверкала подбитым глазом. Гена приходил к нам с извинениями и опять называл меня Настоящей Женщиной. Так и сказал: «С двух больших букв. Береги её, Ванька». Иван попытался поговорить об их вандализме с Витей Репкиным, но тот вдруг заявил:

– Если ты будешь мешать моей жене работать, я тебя сломаю, вот этими руками.

Мешали как раз нам, и мы написали в службу безопасности заявление, что есть вот такая угроза, поэтому просим иметь в виду, что в случае драки Ивана зачинщиком не считать. Всё выходило до пошлости противно. Пора было увольняться. Но, во-первых, мешало самолюбие, а во-вторых, в Пасоле работы не было. Там мы могли бы только охотиться, рыбачить и собирать дары тайги. Нам предлагалось одичать. Если бы это делала сама Природа, тогда некуда деться. Но это делали хамы. А Мишка-еврейчик, помнится, говорил, что плох тот интеллигент, который не может дать отпор хаму. Мы решили побороться до конца, до увольнения.

Кстати, об увольнении успели поговорить с Толей Первым и Толей Вторым. Они уже знали,

почему так резко упало производство нефти. Началась очередная смена хозяев. Все нефтяные месторождения продавались с аукциона. Самым вероятным покупателем называли международный концерн «Шлюмберже-Сервис». Их машины уже год ходили колоннами по шоссе мимо нас: впереди – милиция, следом – тяжёлые спецмашины, вроде наших, только понаряднее, а сзади – медицина. И флаг с именем фирмы. Нас от этого корёжило, во мне просыпалась и ворочалась террористка. Толя Первый сказал, что в Томской области почти не осталось крупных предприятий, которые принадлежали бы Томску.

– Всё куплено или москвичами или иностранцами. Вообще, ребята, наша держава теперь – территория, народ – население, а поодиночке мы все – абorigены, дешёвая колониальная рабсила. Моя внучка в пятом классе. Показала конспект по истории. Знаете, кто открыл Сибирь? Англичане! С этим надо бороться.

Толя Второй сказал, что Россия погибла, что бороться некому и незачем.

– Пусть история катится сама. Её можно чуть ускорить или чуть притормозить, но направление она выбирает сама и задавит любого, кто пытается помешать.

Они, как обычно, заспорили. А мы с Иваном участвовать не стали люди практические. Наши истины рождаются не в споре, а в размышлении. Зато потом мы ни с кем ничего обсуждать не станем. Если мы определим свою судьбу, нас не остановить. Аллах таки ж акбар.

* * *

Признаться, после погрома я растерялся. С женщинами воевать – не умею. А с Витей сражаться на кулачках – не та квалификация. Десантник в рукопашной действует автоматически и может в простой драке ударить наповал. Поэтому я согласился с Машей и отнёс это позорное заявление в службу безопасности. Там сидели двое лейтенантов моей комплектации. Внимательно выслушали. Старший сказал: «Опять геофизика. Позавчера одному вашему шофёру сломали челюсть на танцах: десанником себя вообразил. И вот снова десантник...» Второй увидел мою обиду и сгладил: «Ты-то как раз правильно поступаешь. Мы с этим Репкиным поговорим».

На другой день мы уехали домой. И попытались поискать там себе работу. Посовещались, конечно, с Авророй и Сергеем. У него в лесном хозяйстве ничего не было, сам собирался переходить в Газпром и обещал там поспрашивать что-нибудь для меня. Аврора же предложила Маше создать коммерческую медсанчасть на базе её медпункта.

– Если зарегистрировать не удастся, так это даже лучше. Налоги не платить, а народ нас никакой инспекции не выдаст, потому что здоровье дороже. У нас тут жил один старик, знахарь. Лечил за харчи и плевал даже на КГБ, потому что он тамошнему начальнику вылечил жену от бесплодия. Так то при советской власти, тогда строго было. А теперь – свобода, всем на всех плевать.

Это было не очень убедительно, но Машу немного успокоило. Народ в самом деле не выдаст, в этом мы убедились. Кавказцы больше не давали о себе знать. Значит, тоже поверили.

Мы решили, что будем работать в геофизике до конца. Но на следующую вахту ехали без прежней радости. А уж точнее – просто с отвращением.

* * *

Жизнь вахтовика тем особенна, что не замечаешь, как она проходит. Вроде только что был январь, наши вещички мёрзли на улице, а вот уже и снег сошёл. И своё имущество мы теперь в конце каждой смены перетаскиваем в старую будку от списанной «элпээски». Она стоит в полусотне метров от караулки, у леса. Зимой туда приходилось после каждой метели чистить тропу. Теперь проще – по травке. Но всё равно неудобно. И глупо – таскать взад-вперёд книги, инструменты, одежду, посуду. Но если не таскать, украдут кастрюлю и не захотят о ней даже разговаривать. А всё прочее выбросят на улицу. И жаловаться некому. У начальника смены один ответ: «Это ваши проблемы». Утром он отправляет нас на машине из общежития, а через сутки та же машина привозит на склад «каштанок», а нас увозит. Минимум контактов – вот всё, что для нас «могли сделать». Ну и чёрт с ними. Нам работать до осени.

Но огород мы всё же засадили: топинамбур, чеснок и лук-батун вылезли сами, укроп – тоже с прошлого года, а картошка семенная ждала с осени, куда ж её девать... У Ивана любимая поговорка: «Помирать собирайся, а жито сей». «Каштанки» уже ничего сеять не стали, но и к нашим грядкам не лезли. Впрочем, мы на эту тему посмеивались: устоят ли

они перед горохом, когда нальются стручки? Черно-ватый получался юморок.

Но у нас последнее время всё как-то чернело и в таком виде входило в привычку. Иван даже пошутил: «Как на войне». А я подумала: «Только теперь мы с тобой по одну сторону фронта». Впрочем, не было тут фронта, как не было его и в Чечне. На то и гражданская война. Размышляя таким образом, я додумалась до того, что гражданская война – это совсем не обязательно перемещения войск и стрельба. Гражданская война – это состояние людского духа. Это ненависть, которая висит в пространстве и отравляет души. В общем, если бы получила диплом врача, то работать бы мне с Мишкой в одном диспансере.

А Иван начал писать стихи. Они поначалу получались какие-то трагические:

Пускай борьба проиграна сейчас

И лягут крылья в новую могилу.

Мы завещаем тем, кто после нас:

– Лишь притяженьем мерьте вашу силу.

Потом перешёл на любовную лирику. Дарил её мне, и я гордилась, потому что это были настоящие стихи, не то что в тетрадке Матильды:

Прекрасен рот, которым пьёшь Ты росы.

Прекрасна та роса, которую Ты пьёшь.

Чудны Твои глаза, распахнуто-раскосы.

Прекрасен этот мир, пока в нём Ты живёшь.

При этом он говорил, что единственная настоящая религия – это любовь человека к человеку. В ней нет страха и есть вера, которую можно потрогать. Я спросила:

– Потому ты и пишешь меня с большой буквы?

Он засмеялся:

– Если бог есть, то он, конечно, женского пола!

– А как тогда быть с «каштанками»?

Он ответил вполне серьёзно:

– А чем божьи экскременты лучше человеческих?

Что с ними делают?

Я сказала, что цивилизованные хозяева ЭТИМ удобряют почву на огороде. И тогда он выдал философскую концепцию, до которой, по-моему, никто, кроме него, не додумался:

– Ты не находишь, что главная черта в человеке – негативизм? Когда он жил в пещере, то старался устроить свой быт покомфортнее, а когда стал жить в современных условиях, его потянуло обратно в пещеру.

– Хочешь сказать, что у «каштанок» такое стремление к разрушению – от лишнего комфорта?

– А разве нет? Социальная патология!

Я позавидовала. Ведь это у меня было почти высшее образование, это мне полагалось создать такой изящный термин – социальная патология. И я сказала об этом Ивану. И мы посмеялись. А потом я ему возразила. Я сказала, что в социальном смысле он, конечно, прав, но вот с точки зрения психиатрии всё получается с этими дамами гораздо проще. Мы тут имеем редкую случайность, когда судьба зачем-то объединила сразу трёх врождённых вандалов. В одиночку такой урод шалить открыто не решается, а если рядом такой же, да ещё начальник содействует, потому что сам вандал... Иван снова засмеялся и признал, что наука права, как всегда. И сочинил по этому поводу стишок:

Увы, нет истины нигде:
Ни в жизни нет, ни даже в смерти,
Нет ни в безделье, ни в труде –
Нигде, ни в чём – вы мне поверьте.
Ищите истину в вине,
Ищите в трезвости железной,
В любви ли, в ненависти – нет!
В уме, в безумье – бесполезно.
Нет истины, поверьте мне.
Ни в белом нет её, ни в чёрном,
Ни на Земле, ни на Луне –
Нет! Эта истина бесспорна.
Я спросила лукаво:

– Как же это – в любви нет истины? Ты ведь другое говорил..

Он честно признался, что в данном случае пошутил – из скромности и для красного словца:

– Именно этого слова просил текст. Но психиатру поэта никогда не понять.

И мы снова смеялись. И я удивлялась – уже не как врач, а просто как жена поэта: сколь велик в человеке природный запас прочности, если и в отчаянном положении он может видеть смешное. Но тут же подумала, что всё на свете надоедает, особенно отчаянное положение. И не такое уж оно отчаянное, если привыкнуть. Сказала об этом Ивану. Он согласился. Но тут же сказал, что лучше не привыкать. Лучше ломать ситуацию, чтоб не у нас кости тресали, а у неё. Что возьмёшь, десантник.

– Ты же сама меня этому научила. Я ведь справился с болью.

Но зрачки у него при этом были расширенные. Ему было всё ещё больно.

* * *

Писать стихи человек начинает, конечно, в потрясении. Чем естественнее потрясение, тем искреннее стихи. Это я вывел для себя как оправдание: почему необразованный Ванька из сибирской деревни вдруг начал думать в рифму. Пришло даже стихотворение на эту тему:

Бывает, жить невмоготу,
И голова гудит, как с браги...
Но пальцы тихо на бумаге
Из строчек что-то там плетут,
И в ритме слабого движения,
Как в колыбельном хороводе,
Слабеет горечь поражения,
И раздражение уходит,
Спокойной силой тело полнится,
И нет непонятых стихий...
Когда вам надо успокоиться,
Попробуйте писать стихи.

Это были слабенькие вирши, я скомкал листок и бросил в печку. А спичку вслед не бросил.

Наутро мы сдали смену и уехали в общежитие. Маша поставила на подоконник очередную свою картинку, которую мы назвали «Последняя вахта мая», и завалилась спать. Мы жили в тесной комнатке, где едва помещались две узеньких койки и тумбочка. Удобство было всего одно: тонкая стена у моей койки выходила не к соседям, а к лестничному пролёту. Когда Маша перебиралась ночью ко мне, в соседней комнате ничего НАШЕГО слышать не могли.

Мне спать не хотелось. Ночь прошла в каком-то полубреду. В голове метались какие-то рифмы и образы,

а простреленные внутренности грызла боль. Хотелось воздуха. К тому же за стеной бормотал телевизор. Я запер Машу своим ключом и ушёл из посёлка по шоссе, которое вело к нашему складу.

На воздухе в самом деле полегчало. Я шёл по левой обочине и вежливо отмахивался от водителей, которые обгоняли и сигналили: не надо ли подвезти? Я шёл, конечно, не на склад. Ещё был жив «вигвам» нашего друга Лёвы, и мне захотелось посидеть там, повспоминать. Ведь это он заразил меня стихами. Он-то был настоящим поэтом. Читал мне всё, что сочинял. Называл меня благодарным слушателем. И моя критика ему нравилась: «Хорошим читателем быть ничуть не легче, чем хорошим писателем». Теперь к «вигвamu» уже подбирались «каштанки»: жаловались начальнику смены, что, мол, не положено быть строениям в зоне охраны. Очередная нелепость сошедших с ума баб.

Если пройти мимо склада по шоссе метров триста и свернуть на боковую дорогу, то ещё через триста метров будет тропа, по которой Лев ходил из «вигвама» за клюквой. Мы все ею пользовались – до ближайшего ягодного болота было двадцать минут хода. Я свернул на эту тропу и скоро сидел в «вигваме». Под окном Лев развёл когда-то настоящий цветник. А теперь на клумбе зияли одни ямки: Клава с Матильдой перевезли все цветы под свои окна, к общежитию. Об этом я и решил написать стихотворение. Получалась какая-то ерунда:

Возложите венок на мою погребённую страсть.

Украдите цветы для венка, эта кража – ничто.

Каждый проданный вам – это преданный вами

цветок.

И цветы, и любовь не дороже купить, чем украсть...

Ну и так далее, в этом же духе. Стихи не получались, я злился. Было понятно, что после бессонной ночи ничего доброго не сочинишь. К тому же боль, которая унялась на ходу, теперь, в покое, вернулась. Я уже собрался уходить, как в дверь тихонько постучали.

В это весеннее время вокруг «вигвама» не было ни грибов, ни жимолости, так что и гулять здесь было некому. Я понял, что это «каштанки» случайно разглядели меня на дороге и пошли проверить: не притаился ли я в «вигваме» перед нападением на склад.

За дверью стояла Матильда. Она имела вид скорее робкий, чем нахальный. Смотрела под ноги и ковыряла палую хвою носком сапога. Она стеснялась такой обуви, потому что была в нарядном длинном платье и вся покрашенная, но без сапог к «вигваму» не пройти. Я грубо спросил:

– Что надо?

– Можно войти?

Она спросила робко, а руки держала в карманах. Я подумал: «Шут с тобой, смотри и запоминай, что стащить здесь нечего». А вслух спросил:

– Зачем?

– На два слова.

Она вошла вслед за мной, огляделась и хотела сесть, но передумала. Я тоже стоял. Она вынула руку из кармана и показала мой листок из печки, разглаженный и аккуратно сложенный.

– Это ведь твои стихи.

Я про себя чертыхнулся, но кивнул. Она сказала, что тоже пишет стихи и хочет их мне показать. Я уже знал, как она пишет, и чувствовал себя очень по-дурацки. Ни как хозяин дома, ни как мужчина, ни как поэт, наконец,

я не мог отказать даме, которая пришла в гости со стихами. А отказать очень хотелось. Да просто хотелось её придушить. Свернуть эту цыплячью шею. Из-за такого напряжения усилилась боль внутри. Но я уже кивнул.

Она вынула вторую руку. В ней был второй листок.

Полбеда, если бы это были просто плохие рифмы. Они были посвящены мне. С той же страстью, что в тетрадке для Вити, дама желала, чтобы я горячими пальцами трогал её бёдра и соски. Прочитав стихотворение, она в прозе добавила, что пошла на скандал, чтобы привлечь моё внимание. И теперь она видит, как я на неё посматриваю, и она чувствует, что мы оба готовы...

Я сказал: «Пошла вон». Она ответила, что это не провокация, что она всё это от сердца и что Клава в курсе и не возражает. Я повторил: «Пошла вон». Она сказала: «А ты выброси меня собственными руками». Я взял её за плечи, а она за миг до этого метнулась вперёд, и получилось объятие. И платье на ней было такое тонкое, а движения такие умелые, что я почувствовал себя так же, как с Танькой, когда она в декабре приходила ко мне домой. Зверь во мне мгновенно встал на дыбы, и она это почувствовала. И прижалась сильнее и задвигалась легонько. И подняла ко мне зовущий рот. Вот это и была ошибка. Рот был густо накрашен. И кожа на лице была несвежая, потому и натёртая чем-то. И страсть в глазах, хоть и была настоящая, но не избавляла от какого-то скотского состояния.

– Пошла вон.

Я её вытолкал, запер дверь и ушёл. Она стояла молча, с опущенной головой. Мне было её жалко и противно. Внутри ничего не болело, точно как в драке.

Я не пошёл обратно прежней дорогой. Почему-то фантазия родила нелепую картинку: Матильда прибегает в караулку, кричит Клаве: «Этот гад меня не захотел!» и залегает с карабином у поленницы, дожидается меня на шоссе и открывает огонь. Стреляет она из рук вон плохо, будет напрасно жечь патроны... Чушь, конечно, но я пошёл с тропинки не в сторону шоссе, а дальше, по боковой дороге. Она вела к 16-му кусту, где кла-нялись качалки, от него сворачивала к посёлку, и я всё равно попадал домой, только на полчаса позже.

Конечно, я не боялся, что в меня будет стрелять оскорблённая дама. Мне нужна была смена обстановки, чтобы подумать об этом гадком событии. Ведь я был готов изменить Маше, это факт. Даже измена с Танькой была бы логичнее: старая любовь. А тут ведь любовь и не пахло. Душно пахло дорогой косметикой, стыдно пахло звериностью, когда всё равно, какая под тобой самка. Пахло ещё мезтью: и этой самке, и её кретину Вите Репкину. Я шагал не спеша и ехидно себя спрашивал: «Если бы не посмотрел в лицо, неужто бы спарился?» И стеснялся, как маленький, любого ответа, потому что ни в одном ответе не было всей правды. В общем, вполне поэтическое состояние. Только вот стихи почему-то на ум не приходили. Что-то более благородное должно быть в искреннем потрясении, чтобы оно стало поэтическим.

И я заставил себя не думать больше о блуде. Он не от человека и не от бога, если бог есть. Блуд подсказывает человеку лукавое животное, которое в нём всегда живёт. Оно любит то, что проще: украсть, отнять, убежать, обмануть, предать, струсить. От него нельзя избавиться, как не избавишься от стука сердца или от

цвета глаз. С ним приходится жить до смерти, потом его закапывают вместе с телом. Может быть, потому люди и заводят комнатных животных – для утехи своего внутреннего зверя...

О блуде долго думать тоже не с руки. Надо было развеселиться. Я стал вспоминать смешное. И вспомнил опять о «каштанках». Ещё до скандала рассказала Маша. Они вдвоём с Матильдой ехали на склад. Сидели тесно в кабине рядом с Геной. Когда свернули с шоссе, подслеповатая Матильда воскликнула: «Смотри, Гена! Клава уже вышла тебя встречать! В твоём любимом синем платье!» Зоркий Гена хохотнул и сообщил, что это не Клава. Это синяя железная бочка для стока воды, а на ней – перевёрнутое ведро. Матильда ужаснулась собственной бестактности и начала извиняться, а Гена ухмыльнулся и сказал: «Да чего там. Правда, похоже». Сразу вслед за этим я подумал, что подслеповатая Матильда не попала бы в меня, если бы стала стрелять. Но если бы попала, это была бы моя последняя пуля.

Маше, конечно, об этом приключении – ни слова. Хоть в ней ума на десяток Матильд, а беречь жену всё-таки надо. Я осторожно вошёл в нашу комнатку. Она показалась бесконечно уютной. Нашкодивший пёс вернулся в свою конуру. Тихонько лёг на свою койку и собрался было заснуть, но тут Маша проснулась и перебралась ко мне. И я снова стал человеком.

* * *

Я спросила:
– Мы с тобой – заговорённые или неприкаянные?
Иван быстро ответил:

– Нет уж. Если кто-то неприкаянный, то не мы.

И страсти в нём было тем утром – на четверых: на чеченку, на украинку, на русскую и на советскую. И уснул потом, как убитый.

Нет, нельзя применять к нему это слово. Я среди русских стала суеверной, как они: что скажешь, то и сбудется. Я и так его уже убивала. А теперь он уснул – как младенец.

Я перебралась на свою койку и стала думать: долго ли могут слёзы сами течь, если их не вытирать. Смотрела сквозь них на часы и не вытирала. Слёз хватило на десять минут. Это, наверно, с полстакана. Вот столько могу пролить разом о своём погибшем ребёнке и обо всех следующих, которых, наверно, уже никогда не смогу родить. Четыре года уже не могу, хоть и стараемся. Ещё через год-два-три Иван ко мне совсем привыкнет, начнёт страдать от бездетности, а потом прогонит. Он настоящий мужчина, он хочет себя продлить. Да и я хочу. Только он – заговорённый, а я теперь – неприкаянная. Чеченка, но украинка. Живу на родине, но беженка. Жена, но не мать. И не такая уж большая плата за все эти беды – полстакана слёз. Да и полезно слёзы лить: душа добреет и светлеет. И мысли после этого яснее. И вот я уже думаю, что не совсем моё бесплодие. А если насовсем, то Иван меня не бросит. А если захочет бросить, я сведу его в лес, раскрою свой верный Зил-Бухар и скажу: «Это я тебя тогда прострелила двумя разрывными. А родить тебе не могу вот по такой-то причине. Поэтому, мой единственный, зарежь меня здесь и оставь на диком сибирском мохе – пускай растащат меня по молекулам добрые лесные жители...

Кстати, «на мохе», «на мхе» или «на мху»? Слабовато владею родным русским языком. И родной чеченский помаленьку забываю. Стану скоро полуязычная, как бедный Коля-писатель.

* * *

В мае Маша получила письмо от деда. И стала вне себя от радости. Она-то думала, что он погиб вместе со всеми. Она рассказывала, что незадолго до того, как попала в Ростове под взрыв, их дом в чеченском ауле штурмовали русские спецназовцы, потому что в нём засекли банду. Погибла вся её семья. А вот дед, оказалось, уцелел. Вот что он ей написал: «Верные люди рассказали, что ты больше не вернёшься домой. Если бы ты и хотела вернуться, возвращаться всё равно некуда. Наш дом восстанавливать некому. Я живу теперь в доме твоего брата Руслана. Что он погиб, ты знаешь. Аслан тоже погиб. Его нашли в горах. Я остался с одними женщинами. Плохая старость. Ты не стала врачом. И совсем уехала от нас. Меня лечить не надо. Я скоро умру. Вымирает наш народ. Его надо лечить. Подумай об этом, дорогая. Мне уже ничего не надо. А народ должен жить». Маша сказала, что письмо написано рукой деда, но конверт подписывал не он. Я сказал, что не могу считать этих людей врагами. Я точно так же заботился бы о спасении народа. В этих людях, что прислали письмо, я вижу не злобу, а обиду. И заботу. Поэтому ни в чём неволивать Машу не могу. Захочет вернуться на родину – пусть возвращается. Только я с ней не поеду, это понятно. Она сразу стала грустной и спросила: «Что, уже

привык ко мне?» Я не понял: «Что плохого в привычке? Конечно, привык». Она вздохнула: «Привычка со временем заменяет любовь. К кому привык, отпускать жалко, но можно. А кого любишь, того не отпустишь». Была она при этом печальная, как конец сентября. Я спросил: «Почему так обо мне думаешь?» Она ответила: «Ты ребёнка хотел, а я не могу. Вот и начал... разлюбить. Такую и прогнать не жалко». Она в словах всегда была ловчее меня, хоть и чеченка. Ответить нечего. Вышло, что разлюбил. Не мог же я в доказательство рассказывать о Таньке и о Матильде. И разозлиться не мог. Это было бы признаком бессилия. Пришлось выйти во двор и поколоть дровишек, чтобы мысли пришли в порядок. Когда она вышла ко мне, у меня уже был ответ. Мол, каждый любит по-своему. Но она опередила: «Ванечка, прости дуру. Это я так боюсь тебя потерять. Не отпускай меня никогда и никуда. Пожалуйста. Пока любишь».

Я ответил, что люблю её всегда. И мы сели писать письмо деду.

Это было коротко, но очень, очень мучительно. Мы написали, что Маша попала в Ростове под взрыв и всё забыла. И поехала, куда глаза глядели. А по пути встретила меня, совсем больного: меня поломал медведь. Теперь она всё вспомнила, но я совсем нездоров, меня надо выхаживать, поэтому пока она домой ехать не может. Она надеется, что внучатые невестки помогут деду в его старости, а сама она теперь сибирячка. Она не забывает свой народ и свой язык. И детям она даст чеченские имена – Руслан и Аслан. В конце мы пожелали деду долгого здоровья и выразили надежду, что когда-нибудь его навестим.

* * *

Мы с Иваном написали деду совершенно дурацкое письмо, и я пошла с ним к почтовому ящику. Раз в два дня из него высыпали письма и увозили на попутной машине в райцентр. У меня был с собой чистый конверт и листок, и я прямо на лавочке у ящика сочинила в Чечню совсем другое письмо. Очень короткое. «Дорогой дед! Я тебя люблю и рада, что ты жив. Домой вернуться не могу. Прости и забудь меня. Твоя внучка Марьям». Залепила конверт, но и это письмо не отправила. Решила: пусть будет горько один раз, чем размазывать кашу по тарелке. Не отвечу совсем, пусть думают, что я всех забыла или уехала или умерла. Семь бед – один ответ. Аллаха нет, но Он всё видит. Мои преступления оплачены моими муками. Квиты.

* * *

На медкомиссию нас больше не послали. Это означало, что ликвидация нашего склада – вопрос решённый.

Июльская вахта прошла в сборах. Мы укладывали в ящики свои пожитки, которых за четыре года накопилось изрядно. Инструменты, посуда, всякие деревяшки, справная спецовка – без всего этого можно было бы и обойтись, но раз оно есть и можно вывезти, то не бросать же. Мы даже подосиновики продолжали собирать и сушили на специальных рамах. Резали их на ломтики и нанизывали на нитки. Маша стала настоящей деревенской сибирячкой, у неё ничего не пропадало. Только потешались, когда эти рамы с грибами приходилось прятать от «каштанок» в нашу будку. Они тоже прятая-

ли всё своё, и наворованное, в Витину будку и запирали на два замка.

Стычек между нами уже не было. Все процедуры один раз в сутки выполнялись машинально. Я старался вообще не смотреть на Матильду, чтобы ей опять не померещилась мужская страсть. У меня к ней не было уже злобы. Жалость была. Мы с Машей поговорили об отношении к этим бедолагам и решили: чем человек мельче, тем большей жалости он заслуживает.

К «вигваму» я ходил всего один раз, и то во время своей смены. Это было к концу вахты. Маша вернулась оттуда с грибами и сказала, что все стёкла в «вигваме» побиты. Это, конечно, сделали «каштанки». Я молча собрался и забил пустые окна досками. Да так, чтобы труднее было отодрать. Хотя эти бабы уже показали свою силу, когда зимой отрывали от стен наши полки и стеллажи. На двери «вигвама» я написал мелом: «Не надо ломать. Мы ещё вернёмся». Так, для куража.

«Каштанки» всю вахту выглядели то ли уставшими, то ли присмирившими. Но один раз я поймал на себе взгляд Клавы – такой яростный, что понял: последний бой нам ещё готовят. Матильда свои глаза старательно отводила. Но мы знали, что в этом заговоре она – душа и разум, а Клава – только восторженный исполнитель. А я знал и немного больше: отвергнутая женщина умрёт, но отомстит обязательно. Однажды пришла мысль: может, стоило тогда, в «вигваме», смягчить её ненависть порывом недоброкачественной страсти? Как в том анекдоте, накрыл бы лицо газеткой... Но напряг немного воображение – и жалость к ней прошла. В своих бедах человек чаще всего виноват сам. А уж в грехах – всегда.

И вот что – о бедах и грехах. Не было моего греха в том, что попал на чеченскую войну. Вся армия попала, вот и я попал. Вся рота гоняла бандитов по горам, а с ней и я. Вся рота полегла в том бою, а я, хоть и полёг, но вот жив ещё. И тут моя беда. Мёртвые боли не имут, а меня боль грызёт, и трудно мне без наркотиков. И Маша не может родить, наверно, из-за меня. Провериться бы, да в деревне этого нет, а в город за этим не поедешь. Она винит себя, я – себя. Идеальная пара неприкаянных. Я теперь хорошо понимаю тех парней, которые после увольнения из армии снова и снова едут на войну добровольцами. Там нет неприкаянности. Пусть на убой, но ты там нужен. Плевать, что кто-то на этом наживается: он обделён настоящей жизнью. Плевать, что кто-то погибает в бою: это настоящая мужская смерть, даже если тебя добил душман ножом. На всё плевать, потому что жизнь без войны – пресна. Но я не напишу об этом стихов. Самые прекрасные стихи, которые проклинают войну, уже написаны, я их читал и даже пел. А те, в которых война прославляется, – сплошная ложь. Конечно, человек так устроен, что не может без борьбы, а война – её разновидность. Но славить убийство могут только духовные уроды или те, кто об этом только слышал от уродов. Война – просто заразная болезнь. Не всякий заражается, есть люди с иммунитетом. Это нормальные люди, с большой буквы. Я и сам такой. Но мне больно. И я точно знаю, что, если вернусь на войну, боль меня отпустит, без всяких наркотиков. И утешаюсь только тем, что, раз я создан для борьбы, то пусть это будет борьба с болью. Любовь не хуже войны снимает боль. Вот её, любовь, и следует воспевать в стихах. Каждым стихотворением закрывая тему.

* * *

После июльской вахты мы вывезли всё своё имущество домой. Оставались только разные деревяшки, которые хозяйственному Ивану было жалко бросать, поэтому он всё ещё держал их под замком в своей будке.

А я махнула рукой даже на огород. Мы что-то с него ели, даже молодую картошку уже подкапывали, но весь урожай предстояло бросить на корню. Я даже рисовать перестала. Все лица были уже нарисованы, все пейзажи – тоже. Последняя акварель – портрет в пейзаже: толстый зад Клавы, ворующей горох среди нашей картошки на фоне цветущего топинамбура. Потом набрасывала в блокноте потешных насекомых – вот и всё.

Я вообще с весны, после разговора с Авророй о знахарской лечебнице, только тем и занималась, что изучала растения и рецепты. И насушила за лето целый мешок разных трав. Даже удалось ответить Клаве благородством на подлость. Она вдруг слегла в августе с радикулитом. На севере август холоднее и дождливее сентября. Будто осень начинает пристрелку. Клава слегла по непонятной причине. Было и ветрено, и дождливо, но ведь могла бы сидеть, как обычно, в караулке. А она, видно, где-то бродила, подняла на холоде что-нибудь тяжёлое – и застудила поясницу. Или «вигвам» пыталась ломать? Гена привозил к нам Гришу получать заряды, и, пока тот возился в хранилищах, пожаловался: «Моя дура простудила спину. Завтра вторая дура будет дежурить одна. А моя орёт благим матом, совсем боль не терпит». Я дала ему настойку сабельника, очень густую, специально для такой

растирки. И предупредила, чтоб не пил. Он спросил: «А что, на водке?» Я сказала, что на медицинском спирту. Но пить сабельник можно только в холодное время года, так что смотри, мол. Он обещал внутрь не употреблять. На следующее утро обеих «каштанок» привёз другой шофёр. Клава с порога напустилась на меня: «Погубила мне мужа!» Я спросила: «Но тебя-то он растирал?» «Он меня вылечил, а остальное выпил!» «Я ж ему говорила...» «Ничего ты ему не говорила!» С тем и уехали, проклинаясь. Клава истерически кричала вслед: «Чтоб не смела к нему заходить!» Иван откровенно смеялся. В общежитии мы сразу пошли к бедному страдальцу. Он сидел за столом в согбенном состоянии и, увидев меня, сказал: «Королева, посмотри на дурака». И объяснил, что сильно болит низ живота, где мочевого пузыря. И очень славно стеснялся произносить это название. Я спросила: «Сегодня выпил?» «Ну да! Второй раз её натёр, она вскочила, как молодая, а остальное куда девать? Там и было-то с полстакана. Только выпил – сразу боль». Я сказала: «Любому хватило бы и чайной ложки. Терпи до обеда и пей побольше воды. Само пройдёт». В общем, самолечение опасно.

На завтрашней смене ничего не произошло. Клава как будто смирилась со своим позором, но смотрела недобро, была сильно скована в движениях. Я чувствовала, что она уже что-то натворила, и решила проверить «вигвам». Сказала об этом Ивану, и мы оба посмотрели в ту сторону: обычно «вигвам» был вполне различим за мелкими осинками и берёзками, которые постепенно заселяли нашу складскую расчистку. И ничего не увидели. На месте были высоченные пихты и кедр, среди

которых Лев поставил своё жилище, а самого жилища видно не было. Иван выругался и побежал туда. Вернулся очень скоро и очень грустный. Сказал:

– Раскатали, дуры, по брёвнышку. Вот и лечи таких.

Мне уже было всё равно. Я засмеялась:

– Лечить-то больше нечем. Она сегодня снова сляжет, а всё лекарство Гена выпил.

Так на следующий день и случилось. Матильду привёз Гена, но вместе с ней прибыл и начальник смены. Гена стал копаться в машине, а Малышкин, виляя хвостом и хромя сильнее обычного, подполз ко мне.

– Слышь, Дмитриевна. Радикулит меня прошиб. А у тебя, говорят, растирка есть...

– Кто говорит?

– Да вон, Генка. Может, пособишь? Хоть вахту дотянуть...

Врал, конечно. Для Клавы старался. Я вылила ему остатки зелья в крохотный флакончик и повторила предупреждение, чтоб не пил. Он ухмыльнулся:

– Да Генка уже проинструктировал. Вон как стесняется, даже не подходит.

– А как он себя чувствует?

– Да здоров уже, как бык!

Удивительно подобострастно ведут себя дурные люди, когда что-нибудь хотят получить. Смотреть тошно. Я спросила:

– Что, Матильда будет дежурить одна?

– Да днём пока одна, а вечером Репкин вернётся с заявки, поможет ей ночью...

И заговорщически ухмыльнулся. Гнусный человек.

После него подошёл всё же Гена. Обаятельно смущаясь, сказал:

– Прости, королева, за вчерашнее.

Я решила свести всё в шутку и сказала:

– Тогда уж не королева, а маркиза.

– Почему?

– А ты знаешь песенку о прекрасной маркизе?

– У которой сгорел весь дом?

– Да, с конюшней вместе. Когда пылало всё поместье.

– Ну, все слова не знаю. А что?

– Как думаешь, какой род занятий был у этой маркизы?

– Какие занятия? Она же – маркиза! Что хотела, то делала...

– Тогда вспоминай. Там есть такие слова: «Пятнадцать дней, как я в отъезде...» Ну, чем она занималась?

Гена подумал и – понял и захохотал:

– Пятнадцать дней! Вахтовым методом работала, как ты! Весело. Но пусть она будет маркиза. А ты – всё равно королева.

Оставалось отработать две смены – и мы свободны. Той свободой, которая пуще неволи. Но уже не было безнадежности. Как-то удалось привыкнуть. Не пропадем и в родной деревне. Мы оба – деревенские.

Погода на последнюю нашу смену выдалась тихая и чистая. Луна в сиреневом небе висела, похожая на яичный желток. Машины по шоссе ходили редко и как-то празднично сияли огнями. Всё было в последний раз. Завтра отдежурят Матильда с Витей, и все разведемся в разные стороны навсегда. И дай бог не встречаться.

Мы в караулке играли с Иваном в нарды, он проигрывал, как всегда. По радио рассказывали очередные ужасы о войнах в разных частях света, где есть нефть. В зависимости от российского отношения к войне, одних там называли миротворцами, а других – бандитами или одних оккупантами, а других – бойцами сопротивления. Мир жил привычной жизнью. Только у нас, во глубине сибирских руд и нефти, было спокойно, и празднично играла на песке луна. А мы играли в нарды.

Около полуночи вдруг сильно хлопнуло под полом. Два года назад Иван снял пол в переходном тамбуре между кухней и караулкой и вырыл там погреб. Но он оказался пригодным только на лето, потому что зимой в нём всё замерзло из-за неудачной конструкции дома. Хлопок произошёл в погребе. Мы всё это лето им не пользовались. Могла взорваться какая-нибудь бутылка с брагой, о которой мы не знали. Но уж больно сильным для бутылки оказался хлопок, аж дом подпрыгнул. Мы разом вскочили. Иван сказал: «Брага в погребе?» Я ответила: «Похоже, но не очень». Он сказал: «Вот паразиты!» и толкнул дверь тамбура. Оттуда ударило огнём, ему было тесно в тамбуре, он там бушевал, это было совсем не похоже на брагу. Дверь открывалась не до конца, её чем-то заклинило. За секунду удалось разглядеть, что огонь бьёт из открытого погреба, и там он тоже бушует. Скорее всего, этим взрывом выбило крышку люка, и она заклинила нашу дверь.

– Огнетушители!

Но в караулке висел всего один огнетушитель, остальные – в проклятом пылающем тамбуре. Там же,

в тамбуре, был единственный выход из дома. И этот выход был заперт мощной задвижкой, до которой теперь, сквозь огонь, не дотянуться. Мы оказались в клетке с толстыми решётками на окнах. Мы знали, что единственный огнетушитель давно просрочен, и он не сработал: жалкое сиплое шипенье и тонкая мутная струйка. За то время, пока была приоткрыта дверь, огонь проник в караулку и быстро пополз по обоям во все стороны. Толстые бумажные обои горели превосходно. Я бывала в пожарах. Я поняла, что жить нам остаётся несколько минут. Иван это тоже понял. Он притянул покрепче дверь и начал курткой давить огонь, а мне крикнул:

– Карабины!

В последнюю вахту нам было велено держать оружие в сейфе. Малышкин даже хотел было увезти с собой ключ от сейфа, но Иван сказал: «Тогда распишись за оружие», и он повесил ключ на тайный гвоздик под столом. Теперь это могло стать спасением. Я открыла сейф и достала карабины. Они были уже приготовлены к сдаче в северскую контору: разряжены и густо смазаны. Перед стрельбой смазку надо бы удалить, но когда? Я положила карабины на стол и открыла металлическую коробку с патронами. Начала заряжать карабин. Иван уже сбил пламя и взялся за второй ствол. Я сказала:

– Лучше вынь раму.

Внутренняя рама двойного окна была всего лишь закреплена согнутыми гвоздями, чтобы проще вынимать, когда мыть окна. Иван быстро отогнул гвозди, вынул раму, зачем-то аккуратно приставил её к стене и лишь тогда попробовал на прочность решётку. Она

крепилась на шести толстых и длинных гвоздях, забитых в оконную коробку. Шаталась коробка, но решётка держалась в ней намертво. Я сказала:

– Попробуй коробку.

Он рванул. Коробка готова была вылететь, но её держали облицовочные доски, которыми строители закрыли щели. Иван рванул одну доску. По другой я ударила прикладом. Когда оторвали доски, выяснилось, что четыре боковых гвоздя в самом деле почти ни за что не держатся, но верхний и нижний забиты в брус, их придётся отстреливать. Хватило трёх пуль... Когда огонь ворвался в караулку, мы как раз вываливались из окна вместе с оружием и патронами. Иван сказал: «Журнал!» и вернулся в караулку. Огонь ещё не дошёл до стола. Иван схватил не только постовую ведомость и журнал сдачи оружия, но и прихватил мой блокнот с рисунками и наши слегка обгорелые куртки. Весь в дыму, выпрыгнул из окна и сказал ужасно спокойно:

– Ну-с, меры к тушению пожара мы приняли, теперь, по инструкции, надо позвонить в пожарную часть.

Отдал мне охалку спасённого и бросился к уличной кладовке. Я только тут вспомнила, что там тоже есть огнетушитель. Отнесла всё имущество к поленице и побежала к тарному складу – там тоже висел снаряд огнетушитель.

Сработал только один из двух, который принесла я. Но огонь уже съел телефонный аппарат вместе с проводами и радиостанцией. Делать стало нечего. Пожар невысок, из посёлка не виден за лесом, никто оттуда не приедет. И нам туда идти незачем.

Может быть, эта лунная ночь выдалась холодной, но рядом с горящим домом холодно не было. Потом мы грелись у остывающего пожарища. Тепла хватило как раз до утра, когда нам привезли смену. К тому времени мы успели обследовать «очаг возгорания», как назвали бы пожарные, если бы приехали. Одна скучкоженная жестянка в подвальной яме показалась нам корпусом детонатора. Иван предположил, что если бы моток детонирующего шнура лежал у нас в погребе вместе с этим детонатором и радиовзрывателем, мог произойти как раз такой пожар. Я согласилась: дело было знакомое.

Схема диверсии для нас рисовалась ясно. Когда в скважине не срабатывает связка перфораторов, их надо осторожно извлечь, привезти на полигон и уничтожить. Вместе с зарядами уничтожаются и детонаторы, и детонирующий шнур. Делает это комиссия из хорошо знакомых людей: скажем, взрывник, начальник партии и начальник смены. По договорённости между собой они могут составить только акт на уничтожение, а всю взрывчатку сохранить для рыбалки или ещё для чего... Что-нибудь такое Витя мог держать в нашем погребе, а уж как оно взорвалось – одному Аллаху известно. Может быть, случайно, а может – нас хотели спалить. Очень уж удачно загорелось, в самом уязвимом месте. И в самое подходящее время.

Вместе с Матильдой и Витей Гена привёз и Малышкина. Все подозреваемые были тут, будто хотели жаркое из нас попробовать по-свежему. Матильда выглядела разочарованной и уже не отводила тяжёлого взгляда. Витя держался нейтрально. Гена бросился

ко мне: «Живая, королева!» А начальник смены сразу напустился:

– По инструкции, вы должны были сообщить о пожаре. Почему не сообщили?

Мы сказали, что разговаривать будем в присутствии пожарных и службы безопасности. Он тяжело задышал и отправил Гену по названным адресам.

Мы удобно сидели на поленнице. Гостям сесть не предлагали. Но поленница была длинная. Они устроились там же, подальше от нас. Говорили между собой тихо, чтобы мы не слышали.

Я тихонько спросила Ивана:

– Если драться, справимся вдвоём без оружия?

Он засмеялся:

– Как делать нечего. Но драться не придётся. Они же понимают: нападение на пост.

Шла уже смена «каштанок», но пост мы ещё не сдали. А Матильда и не пыталась его принять.

Милиция и пожарные не ехали до обеда. Наше начальство нервничало: нас одних оставлять вроде неудобно, а разобраться хочется. Наконец люди в форме явились и сразу сообщили, что в посёлке взорвался какой-то блок на какой-то подстанции, погиб рабочий. Вот, выясняли, что к чему... Малышкин сразу спросил:

– Диверсия?

Лейтенант из службы безопасности ответил:

– Просто бардак. На них уже составляли протокол за нарушение ТБ. Труба лопнула.

Пожарные принялись обследовать пожарище. Мы давали показания эсбэшнику. Показали ему жестянку. Он тоже признал в ней детонатор.

* * *

Вот и вся история. Подробностей о пожаре на складе мы так и не узнали. Дали эсбэшникам подписку о дальнейшем сотрудничестве и уехали к себе в деревню. Но никто нас больше не потревожил. И с Кавказа писем больше не было. Как будто болота вокруг Пасола поглощали всё, что могло нам помешать. И эти же болота снабжают нас багульником, голубикой, сабельником, аконитом и ещё множеством знахарских растений. Мы лечим односельчан и не боеем сами. После вахтовой жизни мой режим стал более упорядоченным, и боли внутри отпустили, больше к наркотикам не тянет.

А о вахте осталось множество воспоминаний, которые мы ворошим за нардами. Зашумит где-то машина – оба вскидываемся к окну: Гриша едет за зарядами? И часто поглядываем в окна без всякого повода: не идет ли кто? И ночные бдения у нас, хоть всё реже, но до сих пор бывают. Вот тогда и садимся за наши самодельные нарды. А потом убираем их подальше на шкаф, чтобы гости не удивлялись: что за шашки? Больше всего Маша любит, когда я рассказываю о последнем своём контакте с «наштанками». Она уже сидела в машине, а я забежал к Губину попрощаться. Гены в комнате не оказалось. За столом сидели Клава с Матильдой и пили водку. Я оглядел комнату, не обнаружил Гены и уже подался назад, как вдруг Клава громко сказала: «Она, значит, настоящая женщина, а мы – никто?» Вопрос был обращён явно ко мне. Спрашивали явно о Маше. И я растерялся. Сказать правду – оскорбить сразу двух женщин. Солгать – себе дороже. Целых пять секунд я размышлял и всё же сказал правду:

«Выходит так». Повернулся к ним спиной и закрыл за собой дверь. Об дверь тут же что-то ударило, и донёлся звон разбитого стекла. Машу этот рассказ всегда веселит:

– Ну не было у них ни гранатки, ни карабина!

Однажды после такого воспоминания я спросил:

– Ты вернулась бы отсюда на войну?

Она пожала плечами:

– Вернуться можно туда, где уже побывала. А я на войне не была.

– А я бы вернулся. Чтоб ты меня ещё раз убила, а потом бы спасла от шатуна.

Её глазищи округлились.

– Ты с чего это взял?

– А с того, что ты иногда разговариваешь во сне.

У неё было такое лицо, что я расхохотался. Тогда она спокойно сказала:

– Не шуми. Детей разбудишь.

24.12.2004.

Содержание

Заговорённые	5
Вооружённый курорт.....	55
Прекрасная маркиза	151

Литературно-художественное издание

Владимир Владимирович Шкаликов

ПИЩА ДИКРЕЙ

Дизайн и иллюстрации *О.Е. Нечаева*
Вёрстка *А.А. Овсянникова*

Подписано в печать 3.01.2017. Формат 84x108^{1/32}
Печ. л. 6,25. Тираж 300 экз. Печать офсетная
Заказ №20

Отпечатано в УПТ ТГУ
г. Томск, пр. Ленина, 66
Тел./факс (3822) 51-37-36